

84/2105 Кс/6
К 65

Н.И. КОНЯЕВ
ОКОЛОТОК
ПЕРЕКОВКА



**КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК
СРОКОВ ВОЗВРАТА**

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач.	
---------------------	--

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Администрации Ханты-Мансийского
автономного округа,
Администрации г. Ханты-Мансийска и спонсоров

Сергею Комарову
поэту, критику -
Новых уексов!
14.11.96г.

УНИСЕРВ

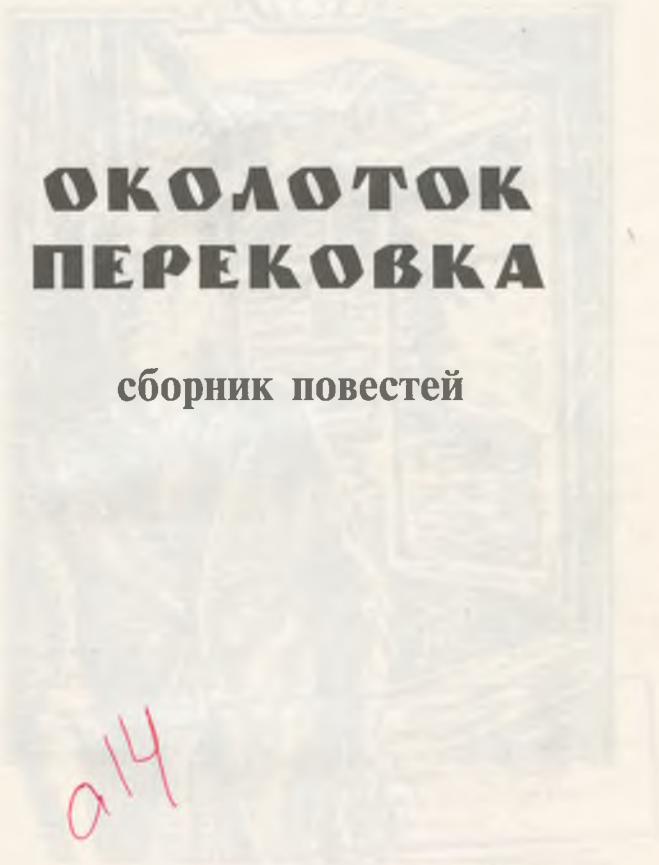


84(2Рос=Рус)б
К65

Н.И. КОНЯЕВ

**ОКОЛОТОК
ПЕРЕКОВКА**

сборник повестей



а14

-109078/1-

«УНИСЕРВ»
Москва
1996

ББК 84Р7
К 65

Российская Федерация
Тюменская область
Муниципальное образование «Городской округ
Тюмень-2»
Муниципальное учреждение культуры
«Тюменская областная филармония»
Исполнительный директор
Ирина Александровна
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пушкина, д. 21/1

© Н.И. Коняев, 1996

© А.И. Черных, рисунки и оформление

© УНИСЕФ, Москва, 1996

ISBN 5-86035-020-1

СБОРЩИК ДАНИ



*Настоящее бывает
следствием прошедшего.*

Н.М.Карамзин

Субботним вечером 26 декабря 1987 года продавщица Осихинского сельпо Дарья Семочкина, как обычно, пересчитала выручку, сдала магазин под охрану Кузьме Шагову, по-уличному — Кролику, и отправилась домой. Лампочка на столбе около магазина перегорела еще осенью, и Дарья, раскинув руки, осторожно, точно по жердочке, перешла впотьмах обледенелую дорогу. Напротив дома старика Шамарина вдруг остановилась...

В распахнутой калитке горбатился иссиза-синий плотный сугроб. Ни со двора, ни ко двору не виднелось ни следочка. Дарья вспомнила: поземка мела в ночь на четверг, стало быть, сосед не выходил из дому третьи сутки. Последний раз видела Шамарина в среду... Да, в среду, после обеда. Хлеб из пекарни только подвезли, и народу еще не набежало. В магазине были двое — он и Мотря Шагова, Кузьки Кролика благоверная. Шамарин взял буханку белого, сушек полкило, пачку папирос. Постоял, помешкал и спросил бутылку.

Она отмахнулась: «Что ты, Василий Егорыч! Какая нынче водка? Указ на огненную вышел. То, что было, выдули, а завоза нет».

«А ты бы посмотрела хорошенько, может, затерялась бутылочка, — попросил старик. — Или, на худой конец, поллитра парня с топором».

Старушонка Шагова ввернула вполухутку: «Ты, Шамара, погляжу, зачистил без Агриппины. Как она уехала, сдружился с этими «парнями»!

Шамарин отшутился: «Э-э, девка! Отчего мне, молодому-холостому, не кутнуть? Вот приду сейчас домой, стопку опрокину, сапоги нашоркаю, подамся по сударушкам. Чем не кавалер?»

«Откавалерилася, Вася, кавалерка-то!» — отбрила шустря старуха.

«И откуда ты, Мотря, все как есть-то знаешь? — старик прищурился лукаво и тут же горестно вздохнул. — Да, слышь-ка, никудышный кавалер сделался с Шамары... А поллитру, деушки, не просто так прошу. Именинник я сегодня, скромно выражаясь. Надо б душу удовлетвить».

«Тады оно коне-ешно, — согласилась Мотря, — грех не пропустить! Уж ты, Дашутка, ублажи, не пообидь Шамару».

Она не устояла: «Не знаю, что и делать... Разве что в подсобке поискать? Только вы уж спрячьте ее в сумку, чтоб никто не видел... Увидят — набегут, беды не оберешься».

И вот — как в воду канул дед. Три дня в сельпо не появлялся, ограда позавьюжена. Но окошко в доме светится...

И вспомнился Дарье ночной разговор с мужем. Иван в первом часу вышел на двор и, воротясь, проронил мимоходом: «Что-то у Шамарина третью ночку свет горит... Чего ему не спится?» Тогда Ивановым словам не придавала значения. «Бессонницей страдает», — бормотнула сонно.

Поговорили и забыли. Но сейчас тревожно сделалось вдруг Дарье. Подгоняемая смутным, суевренным страхом, заскочила в сенцы, рванула в доме дверь...

— Ты бы оторвался от газетки! — выдохнула мужу.

В ожидании жены Иван с газетою в руках сидел напротив телевизора.

— С чего переполохалась?

Дарья облизнула ссохшиеся губы.

— Ты когда последний раз с Шамариными встречался?

— С Шамарой? В среду... Двадцать третьего.

— А вчера-позавчера?

— Не-ет... А что случилось?

Дарья обессиленно села на диван.

— Третьи сутки старичишку не видать, и проведать на ум не взбредет. Соседи называемся!

Тревога от жены передалась Ивану.

— Да что случилось-то, скажи!

— Пока еще сама не знаю. Только чую, что неладно. Надо бы проведать.

...Дверь в доме Шамарина взломали уже ночью. В прихожей на столе увидели бутылку из-под водки, стакан и миску пельменей. На предтопочном листе валялись клочья скомканной бумаги. Бездыханное тело старика находилось в горнице. В серой клетчатой рубаше, в темных в мелкую полоску мятых брюках, комом сбив половики, он лежал на полу ниц, скрюченными пальцами вцепившись в уголки подушки...

Утреннее вскрытие показало отравление угарным газом.

1

С утра подморозило, поскотина обелилась инеем, а днем, когда пригрело солнце, заблестела, заискрилась испарениями...

— Нашто человек живет? Вот взять, к примеру, дерево, березку эту кудлатую. Богом дана человеку, и голимая от нее польза. Мурашки-букашки по стволу шныряют, пичужки в ветках прыгают — поют-заливаются. Радуются. Станет, родимая, весной оживать-распускаться — глазу любо, сердцу дорого. Сладким соком напоит, в тенечке от жары укроет, от ветру заслонит. Ты ее, красоточку, зугубишь, распилишь на кусочки, расколешь-измельчишь, в печи зимой спалишь, а она тебя же и теплом одарит. Вот тебе и дерево. С ним понятно все. Оно на радость и на пользу человеку дадено. А нашто, спрашивается, человек живет? Ведь он, хитер-бобер, отдавать не любит, он заграбастать норовит. Он-то для чего на землю Богом сослан? Не ведаешь, Серуха? То-то и

оно. И никто не ведает. Человек, он — главная загадка всей природы... Однако будет нам с тобою разглагольствовать. Домой пора, подружка.

Осихинский пастух Василий Шамарин тяжело поднялся с клока овсяной соломы под раскидистой березой, размял затекшие ноги, запахнул полы дождевика. Ладонью, отполированной кнутовищем до глянцевиной желтизны, потрепал за холку оседланную кобылу, потоптался сбоку, всунул ногу в стремя и, оттолкнувшись от земли, легко взлетел в седло.

Раньше обычного сбил пестрое стадо в кучу, направил к озеру, на водопой. Живой цепью растянувшись вдоль кромки илистого берега, коровы медленно цедили взбаламученную воду, затем, глубоко увязая в няше, екая селезенками, выбирались на сухое...

Пастух меж тем из-под руки оглядел село. Задворки огибала голая березовая рощица, за ней во всю ширь простирались утыканные рыжими скирдами поля вперемежку с багряными колками. Сквозь черные ветви древних талин по ту сторону озера виднелись убранные огороды, бабы и ребяташки копнили картофельную ботву, протапливались бани, в синеватой стелющейся дымке темнели силуэты стаек и амбаров. Терпкий березовый дух распаренных веников докапился до поскотины...

Через полчаса медлительное стадо втянулось в пыльную улицу. С перестуком распахнулись калитки, заскрипели петлями ворота. Мерно покачиваясь в седле, с достоинством, чуть заметным кивком головы Шамарин отвечал на приветствия сельчан. Стадо с утробным мычаньем растеклось по дворам и загонам, лишь кучка шалопутных коровенок во главе с красавцем Зевсом Кузьки Кролика, округлыми боками ломая ветхие жердины, ринулась на огороды, где на задах дозревали капуста и брюква, островками рябились полеглые листья хрена, корнями вбирающего последние соки земли...

Тонкие, обветренные губы пастуха скривились в осуждающей усмешке.

— Хозя-я-ява, вашу мать! Скотину, гля-кось, встретить недосуг!

Сопроводив остатки стада до края длинной улицы, Шамарин круто завернул кобылу. Из-за оград донеслись мужские окрики, гогот потревоженных гусей, ленивый брех собак. Послышались ласкающие голоса хозяек, бряцанье дужек подоюников, и чуткое ухо Шамарина различило перезвон молочных струек, постепенно переросший в тихую мелодию...

Пастух подъехал к дому, соскочил с верха, на потном кобыльем брюхе ослабил подпругу. Протянул к обвислым, обслюнявленным Серухиным губам сухую корку хлеба. Затем решительно рукой толкнул калитку, намотал на кнутовище сыромятную «змею», вбросил ее в сумрачный проем амбара на мешки с картошкой. В дом не заглянул — знал, что Агриппина на вечерней дойке. Через заднюю калитку пошел по огороду к бане.

Агриппина еще утром наполнила водой котел и чугуны, натолкала в каменку березовых поленьев, подмела в предбаннике, вымыла полук. Шамарин поднес спичку к свернутой берестке, она вспыхнула как порох, загудел огонь. Он посидел недвижно перед каменкой, докурил и встал, произнес отчетливо и твердо, как только что дошедшее:

— Живем ведь помаленечку!

* * *

Утром встал чуть свет. Сполоснул лицо под умывальником, оделся, вышел из дому. Поглядел поверх забора на безлюдную середку. Противоположной стороной прошел к конторе Казыдай, управляющий совхозным отделением. Старик отправился вослед.

Вскоре к дому пастуха подрулил грузовичок. В кабине рядышком с водителем сидел напыщенный старик. Глаза блестели нетерпением, на макушке матово отсвечивала круглая пролысина. Из дому вышла Агриппина. В наброшенной на плечи плюшевой жакетке, в резиновых калошах, резкая в движениях. Вошла в амбар, замешкалась.

Старик поерзал на сиденье, ступил на подножку машины.

— Ну чего застряла? Шевелись маленько!

Агриппина огрызнулась:

— Не понукай, я тебе не Серуха! Топор вот нигде не найду. Куда его запрятал?

— В углу он. За мешками.

— Да где же за мешками?

— В дождевик завернутый.

— Вот куркуль-то, — пробурчала Агриппина. — Все-то прячет от кого-то, все-то прячет! — Нашла топор, лопату, подошла к грузовику.

Старик принял нехитрый инвентарь, вбросил его в кузов и, всем своим видом показывая, что не намерен терять ни минуты впустую, щелкнул дверцей перед носом Агриппины...

В полдень у ворот шамаринского дома высилась гора отборных, полешко к полешку, дров. Старик закатал рукава. Из сарая выкатил дощатую тележку, смазал солидолом оба колеса, подбил, где требовалось, гвозди, принялся возить дрова в ограду. Сделав кряду три-четыре ходки, складывал пахучие поленья вдоль высокого забора. Работал с наслаждением, неспешно, чтоб надольше хватило. Поминутно отступал, любовался ровной кладкой. Вечером из дому вышла Агриппина, позвала на ужин. Шамарин только отмахнулся. Отмахнулся через час и через два...

— Какой ты вредный да настырный! — сердилась Агриппина. — То шагу сделать не заставишь, то не остановишь. Бросай дрова — суп в чашках стынет!

— Холодный за милую душу пойдет!

— Ну, черт с тобой, ходи голодным! — Агриппина громынула дверью.

Шамарин будто на крыльях летал. Домашняя работа не была ему в тягость. Дело спорилось, пела душа. Радовали дрова — сухие, колкие, сплошь береза. Радовало, что дешево — в поллитру водки — обошлась вывозка. Что работы впереди — непечатый край...

Завершил поленицу уже глубокой ночью, при свете переноски, но и на том не закруглился. Вышаркал метлой обширный двор, размел круговину за воротами. Покурил на крыльце и лишь тогда отправился на отдых...

Неделя не прошла, а пролетела. Старик поднимался ни свет ни заря, выпивал литровку молока, выскакивал на двор. Картошку из амбара ссыпал в погреб, из-под открытого навеса убрал остатки прошлогоднего сена, высвободил место новому укусу. Прикинул на глазок: можно чуточку продать, при нынешнем дождливом лете любой с руками оторвет, только заикнись. Починил забор, на толевой кровле сарая заделал дыру, проверяя на прочность, простучал обушком топорика ограду, с удовольствием вогнал в сухую древесину дюжину гвоздей. Когда придирчивому взгляду не за что стало зацепиться во дворе, пошел на огород. Недовольно вскрякивал, носочком сапога выбивая из-под земли пропущенные Агриппиной картофелины, кучками складывал их на траве. Собрал в копешки вялую ботву, прошел к капустным грядкам. Оглядел ряды тугих и круглых, как мячи, вилок, коснулся холодного, соблазнительной белизны и свежести листа, но не отщипнул — всему свой срок. С трудом выдернул хвостатую брюквину, ножичком отслоил мягкую кожуру, отрезал кружочек плода, захрумкал, блестя широкими крепкими зубами. На обратном пути рассовал по глубоким карманам картошку, тяжело опустил на ступеньку крыльца, свесил между колен жилистые руки. Обозрел ухоженный двор и ощутил невероятную усталость.

Вот, кажется, и все. Можно отдохнуть.

2

В один из ясных дней начала октября, когда лег снег, ледком сковало землю, с утра сходяв на огород, старик скомандовал с порога:

— Все, мать, беремся за капусту!

— И то, отец, дошла! — кивнула Агриппина.

После завтрака Шамарин наточил ножи, Агриппина приготовила кадушку и тазы.

Спустя еще немного времени старик принес мешок вилок. Примостился у стола, смахнул с вилка взлохмаченные листья. С сочным хрустом острый нож вошел под кочерыжку. В три движения руки Шамарин вырезал ее в виде пирамидки. Махом развалил напололам тугой

вилок и отщипнул кусочек спелого листа, бросил на язык.

— Не капуста, мать, — арбуз!

Поднялся перестук двух ножей, резиновый скрип кочанов. Работали молча и споро. Не услышали, как отворилась домашняя дверь и на пороге возник внук.

— Физкульт-приветик, дорогие!

— Прие-ехал! — Агриппина, бросив нож, метнулась к своему любимчику.

— Явился, попрыгун! — сдержал эмоции Шамарин.

Внук вернулся из Каменки, где участвовал в районных соревнованиях по баскетболу. Худой, высокий и нескладный, наклонился к Агриппине, неуклюже чмокнул в щеку.

— Заждалась тебя, Колюшка! Уехал на три дня, а пропал на всю неделю, — пожурила Агриппина. — Бабка всяко передумала.

— Разыгрались, бабсик!

— Опять? — старик сурово поглядел на внука.

— Что — опять? — не понял тот.

— Опять это слово поганое — бабсик? Где ты его откопал? На какой помойке? Чтобы я не слышал больше!

— Лады, дедок. Не распаяйся. — Внук встряхнул кроссовки у порога, юркнул в свою комнату. Оттуда вышел в плавках и с полотенцем на плече. На ходу нагнулся к Агриппине, чмокнул во вторую щеку и потрусил к умывальнику.

— Дури в тебе, погляжу! — ножом хватив по кочану, пробурчал старик. — Девятнадцатый год жеребцу, а все как ребяточек, малютится. Все-то рысью, все-то он вприпрыжку. В районе, что ль, не насккался?

— За что на парня напустился? — вступилась Агриппина. — Он не старик и не калека, чтоб ползком по дому ползать. Скоро в армию пойдет, научат там по досточке ходить.

Колька, шумно отдуваясь, растирался полотенцем.

— Какой, мать, из него солдат? — искоса взглянув на внука, подковырнул старик. — Тощий он, что куренок.

— Были б кости — мясо нарастет.

— Нет, не возьмут его на службу!

Агриппина возмутилась:

— Почему вдруг не возьмут? Чем Колька наш не вышел?

— Куда он годен без специальности? В институт не проскользнул — тям не хватило. А в армии с правами тракториста нынче делать нечего.

— В армии, дед, безработицы не наблюдается, — подал голос внук.

— Ишь ты, грамотей! — хмыкнул недоверчиво Шамарин. — Тебя-то точно не возьмут.

— Ты, дед, ей-Богу, как репей, — не стерпела Агриппина. — Прицепился — не отцепишь. Дай поест с дороги парню. — Сдвинула на краешек стола тазы с шинкованной капустой, поставила тарелку спелых помидоров, глиняную хлебницу с нарезанной каралькой, кружку молока. — Садись, внучек, перекуси.

Внук оделся, сел за стол. Шамарин тоже сделал перекур, уселся на порожек.

— На такую солдатню надежи мало! — заключил уныло.

— Так весь в тебя, дедуль!

— Позубоскаль вот мне еще! Напишу отцу, какой ты!

— Какой?

— Неслух, вот какой. Вызову отца, пускай повоспитывает.

— Поздно спохватился.

— Еще пока не поздно! Тебя-то оброта-ает!

— Раньше надо было думать. Повестку мне вручили.

Агриппина встрепелась:

— Какую, Колюшка, повестку?

— Не в суд, вестимо, — в армию.

Старика с порога будто ветром сдуло.

— Голова садовая! Пошто не сразу сказал?

— Считай, что объявил. — Внук залпом выпил молоко. — Спасибо, милый бабсик!

Агриппина всхлипнула:

— На здоровье кушал!

— Голова два уха! Олух несусветный! — застонал старик.

Колька удивился:

— С чего вы оба всполошились? В армию так в армию, ходим и туда.

— Отцу с матерью дал телеграмму? — спросила Агриппина.

— Напишу с дороги.

— Как это — напишу? А телеграммку? — Шамарин вдруг вспыхнул. — В армию идешь — не девок в клубе жулкать! Соображаешь или нет? Надо, чтоб родители приехали.

— Не успеют. Призываюсь послезавтра.

— Что-о?! — вскричали старики.

У Агриппины разом опустились руки. Шамарин выпучил глаза.

— Ты что себе, дурила, позволяешь? В мячик в Каменке играл и в ус не дул? Не знал, что на службу тебе собираться? О проводах подумал? Стариков удумал опозорить?

Внук сокрушенно качнул головой, попятился к двери.

— Шebutные вы мои! Впереди два дня. Времени — вагон с маленьким прицепом. Все успеем в лучшем виде. — Дверь за ним захлопнулась.

Шамарин крякнул раздраженно:

— Развели тут канитель! Не ко времени с капустой!..

* * *

Легли уже за полночь. С мыслями о внуке вздыхала на кровати Агриппина, на диване тяжело ворочался старик...

Трехлетним мальцом Кольку привезли в Осихино родители. Тогда, в семидесятом, Леонид — приемный сын — работал в какой-то мудреной сургутской конторе. Жили они с Глашей в семейном общежитии, по первости частенько наезжали в гости. Одаривали рыбкой, кедровыми орехами, ондатровую шапку сшили старику, а матери — кисы. Агриппина расцветала. Не от подарков — от сыновнего внимания: «Ленька у меня! Не дочь. Та, как замуж вышла, завихрилась!»

В том году малыш серьезно застудился. Был он бледным, квелым, беспрестанно куксился, мочился, и Агриппина, насмотревшись на страдания ребенка, однажды вдруг восстала.

«Все, родные мои детки, — сказала сыну и невестке, — сами поезжайте хоть на край земли, а мальчонку с вами не пушу. Угробите на Севере парнишку. Глядеть на него, горемычного, больно».

«Верно бабка говорит, — поддержал Шамарин. — Довели ребенка! Тонкий, звонкий и прозрачный. Пусть с нами малость поживет, на свежем молоке скорее оклемается». — Но втайне, где-то в глубине души, немало возмутился, когда сноха и сын не возразили. Они, похоже было, с тем и приехали в Осихино.

Остался внук у стариков. Выходили, вынянчили. На молоке, на вольном воздухе повеселел малыш, щечки разругнулись. Через год отец пожаловал, а чадо под кровать: не хочу от бабушки от дедушки. Стали думать, как с ним быть. «Нечего раздумывать, — заявил Шамарин, — пусть до школы остается, хуже, чем на Севере, не будет!»

Отстояли внука. Раз в год на летние каникулы уезжал в Сургут, гостил у матери с отцом неделю-полторы и возвращался к старикам.

Звезд с неба Колька не хватал, учился ровно и легко, баловством не выделялся, на родительских собраниях краснеть из-за него не приходилось. Рос как в сказке — не по дням, а по часам, за полгода из одежды вырастал, и та сотня-полторы, что присылали ежегодно из Сургута, были не ахти какой, но все ж таки поддержкой. Да и внук с седьмого класса начал зарабатывать: ездил на покосы, работал на косилках и на конных граблях, а в нынешний сезон сел на стогомет. Сена на зиму скотине и себе на джинсы заработал. Поехал поступать, да осечка вышла — баллов недобрал. В совхозе поработал год на тракторе и — вот тебе повестка. Ждали этого денечка, но застал он, как всегда случается, врасплох, и на душе у старика чуточку щемило...

«Вот и сын приемный, не родная кровь, — размышлял Шамарин, — а внука отрывает как от сердца... Оценят ли вот только? Дано ли им понять?»

Ночью он проснулся от хлопка двери. Минуту полежал недвижно, вслушиваясь в шорохи за стеной. Мягкие шаги в комнатушке внука.

Старик буркнул по привычке:

— Ни днем, ни ночью нет покоя!.. И тут он явственно услышал голоса...

— Бу-бу-бу-бу...бу-бу-бу-бу...

Шамарину почудилось, что с внуком разговаривал... покойный дед Калижников, школьный учитель и сельский летописец.

Мороз по коже пробежал у старика. Он осенил себя крестным знаменем, боком сполз с постели...

Внук за столом перебирал магнитофонные кассеты.

— Ты почему не спишь, дедуль?

Старик недоуменно огляделся.

— Я-то потому! А ты вот почему? До полуночи прошастал, а теперь тут с музыкой... С кем ты разговаривал?

— Тебе, дедуль, почудилось спросонок, — усмехнулся внук.

Старик поморгал озадаченно.

— Долго не сиди, завтра спать не дам — боровка заколем. — Присел на табуретку, тронул внука за рукав. — Ты, Колька, отслужи как полагается, чтоб перед людьми не стыдно было. У нас в роду служили все. Служили — не хитрили. — Шамарин помолчал, пытливо поглядел на внука. — И дедка твой не прятался за чужие спины. Не ждал, когда повестку принесут, а сам на фронт отправки добивался. С Семочкиным-дедом вместе добивались... Сейчас, — прервался неожиданно, — минутку. — Прошел, не зажигая света, мимо спящей Агриппины, принес из горницы шкатулку, в которой с давних пор хранились документы. Достал железный крест, за ним — другой. — Георгии! Мой дед Евтихий Каллистратыч когда-то заслужил, — старик придвинулся к столу. — Отчаю-юга дед мой был! Заселяли-то Осихино сплошь переселенцы. Курские да вятские, смоляки да витебцы. А землю разделить — не поллитру раздавить, скромно выражаясь. Не обходилось и без стычек. Как-то раз купчишки стали гнать переселенцев, те, понятно, воспротивились. Приехал волостной. Судил-рядил и приказал

приедем убираться. На другие земли. Тут и восстал мой дед. За правду постоял. Грудью колесом на старшину. Переселенцы тоже ошетинились. Словно пошумаркали! Наутро старшина арестовал зачинщика, доставил деда в волость. Тот зипун с себя долой, а на груди — Георгии, медали за турецкую войну. Куда деваться? Отпустили. Был такой закон: героев — уважать. Так что, внук, держи Георгия, пусть он будет при тебе, как этот... подсажи!

— Талисман?

— Во-во! Не потеряй. Он и со мной повоевал...

— Лады. — Внук встал из-за стола, прошелся взад-вперед, остановился за спиной Шамарина. — Дедуль! Давно хочу спросить... Если не секрет, из-за чего у вас раздор с Семочкиным-дедом? Воевали вместе, он из-под обстрела вытащил тебя. Жизнью ты ему обязан, а теперь, когда он приезжает, вы за версту обходите друг друга.

— Жизнью я ему обязан! Ну и что? Что из того? — Шамарин распалился неожиданно. — Допрос мне учинил! Семочкин Антон, если хочешь знать, в лагерях семь лет мотал!

Внук раздумчиво повел плечами.

— Это ни о чем не говорит. В те времена сидели многие... И многие сидели ни за что.

— Ни за что-о-о? Сопляк ты, а туда же! Просто так и прыщик не садится. И про Антона больше не пытай. Забудь о нем. Так лучше будет!

— Кому, дедуль?

— Тебе. И мне. И — всем... Вот так-то.

3

Легко сказать — забудь. Война не забывалась. Старик лежал, вздыхая, на диване, а думы были далеко, в августе сорок второго...

Шли повзводно кромкой поля, а в обратном направлении, подминая грязными колесами ковер из подорожников, двигались грузовики. В раскаленном воздухе, совсем как в мирный сенокосный день, витали серые рушинки одуванчиков, кружили желтые и синие стрекозы. Внезапно выскочил из норки суслик, подбежал к обочи-

не, встал столбиком, провожая юркими глазенками железную армаду...

— Антоха, глянь-ко, — суслик! — Шамарин взял комок дорожной грязи, бросил в сторону зверька. Тот стремглав исчез во ржи.

Семочкин Антон поправил на плече ремень от автомата, мрачно сплюнул в ноги...

Разведка утром донесла: в деревеньке Плаксино обнаружен немец. Рота или две. Прячутся по избам. Танков не видать. По всему — вперед прорвавшийся отряд, ждущий подкрепления...

К вечеру строй из двух взводов достиг населенного пункта. Взводу, где служил Шамарин, надлежало ударить в лоб, а другому — с флангов.

Приблизились вплотную к огородам и в ожидании сигнала «красная ракета» залегли в подлеске. Тихо было в Плаксине. Ни звука...

— Слышь, Антон? Может, нет там фрицев? Может, привиделось нашей разведке? — шепнул с затаенной надеждой Шамарин.

— Не скули, Василий! — отозвался Семочкин.

И тут ударил миномет...

— С музыкой встречают! — прохрипел Антон.

Первые разрывы послышались за лесом. Затем все ближе, ближе!

«Только бы не в голову! — просверлила мысль. Шамарин вдруг подумал, что смерть — когда вот так, шальным осколком в голову. Он грудью вжался в землю, обхватив затылок. — Только бы не в голову!»

Обстрел внезапно прекратился. На несколько секунд повисла тишина. Затем донесся гул...

Шамарин встал на корточках.

— Что это?

— Похоже, танки, Вася...

— Какие, к черту, танки! Разведка ж доложила!

И — зашелестело по цепи:

— Танки...

— Та-анки!

— Та-а-анки-и!!!

— Три...

— Четыре...

— Пя-ять!

Из-за бревенчатого сруба, сараев и плетней с ревом выползали черные машины. Дерзко, в полный рост, пошли за ними автоматчики...

— Наза-а-ад! — вскричал комвзвода, вставая на колени. — Всем к лесу! Отходить!

Шамарин, повинувшись приказу командира, сперва на четвереньках, затем короткими прыжками, путаясь в траве, бежал к темнеющему лесу. Он понимал — спасение в лесу. Успеть бы, скрыться в буреломе, прийти в себя и отдышаться... Бежали через поле, путаясь во ржи. Падали. Вставали. Но уже не все... В груди свистело и хрипело. Он слышал за спиной горячее дыхание. А впереди стеной маячил лес. Надежда на спасение!

«Только бы не в голову! Только бы не в го...»

Качнулась земля под ногами, ослепило вспышкой, тугой волной отбросило назад. Пронзило острой болью, и свет в глазах померк...

* * *

Проводили внука. Пусто стало в доме, неудобно. С мокрыми глазами ходила Агриппина, суровее обычного выглядел Шамарин. Он теперь подолгу оставался в одиночестве. Курил и размышлял. Однажды бухнул Агриппине:

— Вот что, мать, надумал: буду ставить дом весной!

Агриппина обомлела.

— Для кого?

— Для Кольки. Вернется с армии в свой дом. А свой, он крепко держит.

Агриппина посмотрела, будто на больного, но возражать не стала.

4

После 7 ноября Агриппина собралась в Каменку к сестре. Вековуху Пелагею старик жалел за одиночество и

недолюбливал за сирость. Она плакалась на всяческие хвори, звала обоих свидеться («быть может, больше не придется!»). Агриппина, читая пространные письма, пускала слезу. Шамарин позапрошлым летом дважды съездил в Каменку и, застав свояченицу в бодром настроении, здоровой-невредимой — с флягой у колодца и с тямкой в огороде, — разуверился в болезнях и зарекся ездить.

Поэтому воскресным ясным утром, проснувшись спозаранок, старик лежал бревном, не разлепляя вздрагивавших век. Агриппина встала непривычно поздно. Долго брэнчала соском умывальника, расчесывала волосы, гремела чугунами и кастрюлями. С подойником в руке подошла к дивану.

— Вставай, отец. Пора.

Изображая пробуждение, старик недоуменно выгнул брови.

— Вставай, — поторопила Агриппина. — Покамись Жданку подою, умойся и побрейся, приведи себя в божеский вид — срамно такому выйти на люди. Да не шаперься — опоздаем на автобус.

Старик присел на краешек дивана, сунул кисти рук под мышки, зевнул, уставился на пол.

— Да он еще и не вставал! — возмутилась Агриппина, воротясь. — Сидит как истукан. Что с тобой сегодня?

— Не можетя мне, Гриппк. В нутре сдавило — спасу нет. Вот тута, посередке, — прижал к груди ладонь. — Болит, не продохнуть.

Агриппина растерялась.

— Я предупредила. Допахался до работы, как иной раз до гульбы. Настырность боком вышла!

— Порода наша до работы жадная...

— Вредная порода! Ляг, полежи, может, отпустит.

Старик послушно завалился на спину, сложил руки на груди. Агриппина процедила молоко, крикнула из кухни:

— Давай медичку позову?

Шамарин беспокожно ворохнулся, тихонько кашлянул.

— Да не, зачем ее тревожить. Вроде отпускает... Ты это, мать, езжай одна, а я тут откатаюсь.

— Хуже бы не стало!

— Отлежусь, не сомневайся. Привет там Пелагее...

Агриппина нерешительно кивнула, переоделась в чистое, пошла на остановку. Старик дождался с улицы звяканья щеколды, выждал для надежности несколько минут, махом соскочил с дивана.

Умывался долго, с мылом. Кряхтел, стонал от удовольствия. Достал из шифоньера серую рубаху, давнишний, в мелкую полоску, выходной костюм, на расстоянии руки оглядел его придирчиво. Костюм, несомненно, нуждался в утюжке, но предвкушение праздника не позволяло медлить.

Пиджак, казалось, с каждым годом становился все просторней. Старик пальцами провел по подбородку, но от мысли о бритве тут же отмахнулся. На глаза попали Агриппинины духи. Ей каждый год дарили их ко Дню работников сельского хозяйства. Разновеликие флаконы, пузырьки теснились на комод. Шама-рин вытряс на ладонь несколько зеленых капель, втер их в шею, подбородок, размазал по лицу. Из-под прилипшей к столешнице клеенки выдернул тонкую тетрадь, испещренную карандашными каракулями. В ней он с самого начала своего пастушества вел поголовный учет стада. Старик не нуждался в этих записях, ибо каждую телушку и бычка знал по кличкам и повадкам не хуже, чем привычки и натуры всех своих сельчан. Тетрадь служила документом, необходимым для него свидетельством порядка. А порядок уважался стариком в любом серьезном деле...

На блескучую макушку нахлобучил шапку; выйдя на крыльцо, подпер березовым поленом сеничную дверь.

«Сборщик дани подался в обход!» — острил в таких случаях Колька.

Старику же было все едино: в обход, так в обход.

* * *

Сбор дани начинался с Семочкиной Дарьи. Плату за пастьбу старик не пересчитывал. Знал по опыту, что

меньше не дадут, а если передали — сдачу не отсчитывать. Маленькая хитрость — невелик грешок...

Семочкин Иван — полный, круглолицый, с белой шапкой вьющихся волос, в черном тренировочном костюме сидел на кресле перед телевизором и в ожидании позднего завтрака жевал кусок холодного мяса. Дарья — тоже круглолицая, но в отличие от мужа-альбиносика чернявая — хлопотала у плиты. Пользуясь расположением раннего гостя к неторопливой беседе, жаловалась на мужа. Иван то и дело одаривал жену уничижительным взглядом, но в разговор не вступал, лишь время от времени морщился, всфыркивал, крутил головой от досады.

Шамарин сидел у окна полубоком к хозяевам, в знак сочувствия к Дарьиным бедам вздыхал и поддакивал, блестящие глаза излучали гнев и немилость к поедавшему мясо Ивану. Но стоило Дарье отвлечься, выскочить в сенцы — вмиг преображался. Лохматые куцые брови ползли к переносице, низкий лоб багровел от прилива беззвучного смеха.

— Терпи, Ванька, не перечь, дозволю бабенке злобу выплеснуть!

... Война между супругами длилась третий месяц, конца покуда не предвиделось. Иван по пустячному, в общем-то, поводу схватился в споре с Казыдаем, сродным Дарьиным брательником. Но сгоряча переборщил — бросил на стол заявление об уходе. Казыдай, не долго думая, бумажку подмахнул. Нашла коса на камень. Управляющий надеялся, что Иван наутро на работу явится. Ну, повздорили, с кем не случается! Сколько было брошено в корзину таких вот заявлений на Казыдаевом веку. Иван же втайне полагал, что управляющий заглянет утром по дороге на работу, в шутку ссору обратит — хоть и вредный, но ведь шурин. Иванов трактор между тем простаивал, бригадир в глаза и за глаза костерил обоих. Дарья бунтовала, из дому стала гнать Ивана. Он пошел дизелистом. На маслозавод. Казыдай спохватился, не ожидал такого поворота. Кто умным назовет, отпусти он работягу? И ударил козырем: отказал Ивану в сене, на покосную копейку заработанном. Знал, деспот, чем про-

нять: трое парнишек-погодков у Семочкиных, старшему — седьмой годок. Иван было на дыбки — до прокурора, мол, дойду. Но поостыл и понял: до прокурора далеко, а зима не за горами. С литовкой по задворкам покрутился — чушкам на подстилку взял. Но уперся на своем — корову, дескать, сдам, молоко детишкам стану покупать, а к родичу с поклоном не пойду.

Корову Семочкин не сдал и знал уже — не сдаст, молока-то ребятишки просят каждый день, на молоканку не находишься. Хоть езжай воруй свое. Дарья обратно на трактор гнала, Иван бы и рад воротиться — гордыня не позволяла...

С многозначашим прищуром Шамарин глянул на хояина.

— Хошь, Ванька, сказку расскажу?

— Тоже мне, Андерсен выискался!

— Вот тебе и Андарсан! Слушай. Про тебя... В одной деревне дело было. В старину. Сидит бабка на печи. Сидит себе, сидит. Вот стучат в окошко. «Кто?» — «За тобой, старуха. Жать идти пора!» — «Не, отвечает, не пойду.» — «Пошто так?» — «А пого. Я к зиме помру, внучка замуж выйдет, Жучка околеет. На кого мне жать?» Ладно. Не пойду, так не пойду. Вот тебе зима. Бабка не померла, внучку не просватали, Жучка не подохла. Сидят себе. Голодные. Хлебушка нема... Вот тебе стучат в окошко. Бабка с печки — скок! «Собирайся, внучка, жать зовут!» Вот тебе и сказ!.. — Старик зашелся в хриплом кашле.

— Подь ты в баню, старый шут! — сорвалось у Ивана. — Без твоих побасеночек тошно!

Шамарин не обиделся. Скомканным платочком промакнул макушку.

— Не сердчай, Иван. Помочь тебе желаю.

— Чем же, любопытно?

— Сенном, например. Много не сулю, а чуточек дам. Опять же у свояченицы в Каменке под бруцеллез корову браканули, а у ней, у скупердяйки, третьегодично цело. Перекажу, чтоб никому не продавала. Не горюй, сосед, — прорвемся!

Иван в наклоне подался к телевизору, убавил звук. Огорошенная Дарья застыла у печи.

— Умоем Казыдая! — заключил старик.

До хозяйки наконец дошло. Пальцами столкнув на краешек плиты сковороду с кипящим жиром, на цыпочках прошла к столу.

— Серьезно, Василий Егорыч?

— Неужто зря ботолить стану!

От неожиданной удачи Дарья взволновалась.

— Если можешь, выручи. А мы ведь завсегда... В долгу мы не останемся!

— Чего там, соседское дело! Ты меня за язык не тянула. Я своим словам покудова хозяин.

Дарья даже прослезилась.

— Вот ведь есть же люди добрые! Не то что братушка-вражина. Чужие во сто крат родных душевней! — Все еще не уверяясь, глянула на мужа. Тот кашлянул на подпол...

Дарья выставила водку и закуску.

— Кабы не детишки, Бог с ней, коровой, — объясняла на ходу. — А с детворой без коровенки чистая погибель.

— Так оно, соседка, не житье. — Шамарин закурил.

— Достает-ется нам сенцо, не приведи Господь!

— Что вы-ы, Василий Егорыч, — поддакнула Дарья. — Столько нервов с ним потратишь!

— Сперва накосить умудрись, потом еще вывезти вовремя!

— Ой, не говорите!

— Купить дешевле станет.

Хозяин недоверчиво глянул на Шамарина. Тот глубокомысленно вздохнул:

— Корову сдать? Не выход. Кто ты без скотины в сельской местности? Так себе, не человек.

Дарья вилкой скovyрнула с горлышка бутылки белую жестянку, до краев наполнила стакан. Шамарин глянул на Ивана и — вопросительно — на Дарью.

— Моему ни грамма, — распорядилась та. — Он без водки куролесит хорошо.

Глаза у Ивана недобро сверкнули. Он невнятно что-то бормотнул, снова прибавил звук телевизора.

Старик беспомощно развел руками, поднес ко рту стакан.

— Ну, будем толстенькими, Ванька! — Выпил залпом, отдышался, занюхал хлебной коркой. — Иван! Спросить тебя желаю. Что, батька твой, Антон, сулит приехать или нет?

— Да кто его знает, сосед, — за мужа ответила Дарья. — Надумает — приедет... Странник Божий, да и только. Год у Толика в Омске прожил, а теперь у младшего, у Юрки. Восьмой десяток разменял, а дома не сидится. Сам, по-ди, не ведает, что на ум взбредет...

Шамарин придвинул бутылку, плеснул себе в стакан.

— Вольному воля, скромно выражаясь... У меня к тебе просьба, Иван. Дом надумал ставить Кольке. Отслужится, вернется, а там, глядишь, оженится — детвора пойдет. Тесно кучкой станет...

— С чего ты взял, что он вернется? У него родители в Сургуте.

— Колька? Прилетит! Дом у него в Осихине.

— Вернется, так совхоз квартирой обеспечит. Нужен ему дом! С больших, что ль, бабок дурью маешься?

— Хэх, какие вумники! — старик досадливо скривился. — Все б вы, молодняк, кивали на готовое! Все б вам кто-то что-то дал! Нет, Иван, свой дом, он держит, а не свой не жалко... Ставить буду — решено. Внук потом спасибо скажет.

— Тебе видней, хозяин-барин. Ко мне-то что за просьба?

— Помощи прошу. Пособи фундамент заложить весной. А там уж как-нибудь, с Боженькиной помощью... Что на это скажешь?

— А чего он скажет? — снова встряла Дарья. — Конечно, пособит... Вы бы закусили, а то ведь запьянееете.

Иван вдруг взвился с кресла, заходил кругами.

— Ты-то что встречаешь? Что ты всякий раз встречаешь? Сопи себе в две дырочки. Я за себя скажу!

— Человек с добром пришел! — заверещала Дарья. — С добром. А ты ломаешься. Свинья неблагодарная!

Шамарин усмехнулся понимающе, подцепил на вилку молодой груздок.

День только начинался.

Сельповскому сторожу Кузьке Шагову, за малый рост и вес прозванному Кроликом, Шамарин выражал недовольство Зевсом:

— Не бык, а нечистая сила. Все стадо, дьявол, баламутит. Намучился я с ним!

Глуховатый сторож напряженно вслушивался, сочувственно тряс бороденкой.

Постепенно пьянея, Шамарин склонялся к тяжелым раздумьям.

— Что такое жизнь пастушья, и чего я от пастушества имею? — Крючком поднес палец к виску, строго глянул на Кузьму, требуя внимания. Сложил ладошку в кулак, плавно опустил его на стол. Сам на свой вопрос ответил: — Ни-че-го. Одно лишь угробление здоровья. Суди, Кузьма, коль не дурак. День-деньской на солнце, на ветру, под дождем, под молнией. А комар да овод? Чистая погибель. Словом не с кем перемолвиться, разве что с Серухой. А много ль пастуху почета? Колька сказывал, в Германии даже горлодрану-петуху памятник стоит. А пастуху пошто не доумились? Ну, памятник, согласен, жирно будет, но уважение ока-ажь! Дай внимание почувствовать! Выдели какую-нибудь льготу. Что же это происходит? Мы с тобой, Кузьма, живем на равных основаниях, а разве это справедливо? Не совсем. Твой труд сегодня невелик, тебе ведь одинаково, где спать — дома или на работе. А я со стихией борюсь. Пастух, он, хочешь знать, третий на деревне человек. После продавца и тракториста. А мы с тобой — на равных основаниях! Вот бы кому это все обсказать. У тебя, Кузьма, вроде сын грамотей?

Кузьма кивнул, польщенный.

— В районной газете сидит. Про нашу жись статейки сочиняет.

— Раз сочиняет, значит, соображает. Тебя в газету не посядут. Ты бы ему подсказал. Так, мол, и так. Живет у нас в Осихине заслуженный пастух. Пенсионер и фронтовик. Израненный к тому же. Но пользу обществу приносит. Нельзя ли по части строительства скидку ему подыскать?

Кузьма пальцем помял кончик сизого носа, запустил пятерню в бороденку.

— Подсказать-то, парень, можно. Чего не подсказать.

— Вот и подскажи. Ведь я с твоим Зевском... здоровье подорвал!

— Можно подсказать!

Шамарин вскинул руку.

— Было позабыл! Ты как насчет печного дела? Мастерка из рук не выронишь? Такой мастак ты был по этой части!

— Было дело, да...

— Так как, не выронишь, Кузьма?

— А не должен.

— Знамо дело, не должен. Мастер ты или не мастер? Ты, Кузьма, имей в виду: печка в новом доме за тобой. Русскую мне сложишь. На печке народился — на печке отойду. Во мечта какая!

— Сурьезная мечта. — Кузьма почесал бороденку и хмыкнул: — Ох и шельма ты, Шамара!

— Это почему?

— Дорого мне Зевс-то обойдется!

— Ну, шельма так шельма, а печка за тобой.

* * *

Сбор дани продолжался.

Через полчаса старик топтался на дороге.

*Я на Бурочки-и ката-алси,
Крутой делал разва-рот, —
Чир-рнбровая мата-аня
Да, стоя-яла у ва-рот!*

Подмывало сплясать.

*Как в весеннем у лесу-у
Саловал не знаю чью,
Думал, в кофте розова-ай,
А это пень березова-ай!*

Как всегда в разгар веселья, перед ним предстала Агриппина.

— Нализался, хитрозадый! Опять обвел вокруг пальца. На полпути дошло — попуткой воротилась!

Старик остолбенел, выпучил глаза. Дернулся, но поздно. Отвесив тумака, Агриппина за рукав, как Мотря на веревке упирающегося Зевса, потянула мужа за собой.

— Гриппка, грызь зеленая, пусти! Ослобони, не то вожжами отхожу!

— Побазлай вот у меня. Я тебя скорее отхожу!

Старик обмяк и сдался. Дошло, что праздник кончился. Кончился бесславно, унижительно. И скоро до обидного.

Дома Агриппина вывернула мужнины карманы, на глазах у старика пересчитала деньги. Смятые пятерки, трешки и рублевки сунула под стопку чистого белья в комод. Все. Это была ее территория, посягнуть на которую старик не смел подумать.

Он проплелся к своему дивану, сел на него, уронив между колен оплетенные синими венами руки, посидел, раскачиваясь корпусом. Завалился на спину. Всмотрелся в себя на портрете — молодого и уверенного. Затих. Ушел в воспоминания. Ворошил былое, как страницу за страницей старой книги, которую, будучи в глубоком убеждении, что ничего нового в ней не найти, давно никто не раскрывал. И заснул незаметно. Лежал, пахнувший куревом, водкой, духами...

Агриппина постояла в изголовье, тяжело вздохнула. Присела к столу, достала из кармана карты, поднесла к губам колоду.

— Тридцать шесть картей четырех мастей, лягте в круг, скажите вдруг, что короля ожидает...

Раскинула на внука, на сына Леонида. Выпало неплохо.

— Ну и дай-то Бог!

— Тпррру, Серуха! — выкрикнул во сне Шамарин.

* * *

Не глубокий сон, но и не краток. Шамарин пробудился поздно. Голову разламывало, будто распирало об-

ручем. На табуретке у дивана стоял синий ковш с рассолом.

— Вот тебе и Гриппка! Вот и грызь зеленая! — благодарно простонал старик и, преодолевая боль в висках, оторвал по подушки тяжелую, как чан, голову. Перед глазами, отдаваясь и увеличиваясь, поплыли черные круги. Шамарин сел на краешек дивана. — Черт тебя, дурилу старого, дернул пуститься в обход! Давление вон как подпрыгнуло. Совсем, однако, захирел.

Крутой огуречный рассол пригасил похмельный жар.

— Наделал, старый хрыч, себе хворобушки! — Старик прошлепал к умывальнику, намочил полотенце, обвязал им голову. Боль в висках утихла. Медленно, избегая резких движений, переоделся в привычное серое, вышел на крыльцо. Теперь его мучил вопрос: не учудил ли чего-нибудь спьяну? Силился вспомнить подробности обхода, но память ему изменила...

— Ну и слава Богу, — подумал вслух старик. — Стало быть, не больно-то народ потешил, если Гриппка умелась молчком. Кабы чего отмочил, задала бы трепку. Тихо-мыхо, стало быть...

И оттого, что ничего постыдного для своих солидных лет как будто он не отчебучил, не ославился перед сельчанами, на душе просветлело, отлегло от сердца.

— А ведь сдал ты, Васька, — сукин кот! — подтрунил над собою старик. — Было времечко — улицу сквозь проходил, а вчера трех дворов не осилил. Сплохова-ал!

В ватной телогрейке, с полотенцем вокруг головы, скучаяще поглядывал на улицу. Ничего интересного он там не находил. По голой, каменеющей земле катились усыхающие листья. Через дорогу, у сельпо, кружком стояли бабы, тархтел совхозный «беларусик». На коляске с ручным приводом прокатился по своим делам безногий пимокат Митрофан Морозов. Шамарин проводил его печальным взглядом, горько усмехнулся.

«Живет ведь человек... Полтулова всего-то и осталось, а поди ж ты, катится. Будто так и надо. Еще и глянет, точно на букашку. Нашто вот живет человек?»

И совсем уже некстати пропел скрипучим басом:

*Эх, мать-перемать
Молодые годы!
Мне с матаней не гулять
Из-за плохой погоды!*

Пропел и поглядел на небосвод.
— Скорей бы мороза. Пора б уже покруче завернуть!

6

Перед Новым годом получили сразу два письма — от сына и от внука. Колька писал коротко и лихо, будто ронял на бегу: «Здравствуй, бабсик! Физкульт-приветик, дед! У меня все в норме, жив-здоров, не хмурюсь...»

На этот раз всего-то и добавил: «Скоро, кажется, в Афган».

Агриппина — в слезы. Шамарин помрачнел. Легко сказать — в Афган! Туда не на прогулку посылают. Там не понарошку убивают...

Леонид же в недобром послании упрекал стариков, что вовремя не дали знать о Колькином призыве. Что он, отец, нашел бы время выбраться в Осихино, сгонял бы к военкому в Каменку (вместе ведь учились в школе!), придумал способ получить отсрочку. Что не служить бы сыну, а учиться в институте. Писал, что дали наконец ему квартиру, но с детсадом для близняшек Лоры с Нонной так же без просвета, как и год назад. Глаша, жаловался сын, сидит по-прежнему с девчонками, тогда как место ей находится. Что на одну его зарплату, будь она хоть в тысячу рублей, при нынешних-то ценах прожить в Сургуте мудрено, к тому же новая квартира просит свежей мебели, не мешало б подновить и дачку, а сам он вот уже неделю без работы...

Оказалось, что солидная комиссия то ли из народного контроля, то ли аж из министерства обнаружила на стройке кучу нарушений, и до окончания проверки сына от работы отстранили. Правда, тут же Леонид и успокаивал, что это все, мол, несерьезно, ненадолго, разберутся — восстановят, чтоб не брали, значит, в голову...

В конце письма была приписка: «Мама, приезжай, повозись с девчонками. Внукам по три годика, а ты в глаза их не видала. А как устроится с детсадом — волюшка твоя. Хочешь — оставайся, места теперь хватит, а не понравится у нас — отвезу в Осихино».

— А я согласная, — сказала Агриппина. — Кто им поможет, если не мы?

— Матьерь, значит, приезжай, — психанул Шама-рин, — а про бату ни полслова. Пра-авильно, сынок. И о доме не спросил, не посоветовал. А ведь писал ему, чтоб отпуск летом взял, помочь отцу приехал. Нашто ему батька теперь? Батька нужен был, когда сынку на дачку не хватало. Дурак я был бы, если б выслал!

— Ладно уж, не петушишь, — рукой махнула Агриппина.

— До-обрая какая! — осклабился старик. — А для кого отец старается? Он о том подумал? Не-ет, не тебя он зовет — домработницу. И никуда ты не поедешь. — Старик в сердцах порвал конверт, бросил ключья к печке. — Фигушки, сынок. Дулю с постным маслом. Прижа-ало? Прищемило хвост? Вспомнил о родителях? «Несерьезно?» «Ненадолго?» Поглядим. То ли еще будет! Чую, сын, горишь ты ярким пламенем. Покоритель Севера! Стыдобушка! Геро-ой!

— Раскаркался, дурак! — Агриппина схватилась за карты.

Старик, пошумев, успокоился, лег на диван.

...Кого себе к старости вырастил в подпорку? Не на кого опереться, притулиться не к кому. С дочерью понятно — отрезанный ломоть. Десять классов кончила, в город укатила, выскочила замуж — только-то и видели. Муж — военный, капитан. Пятый год в Германии, онемечились совсем. С дочки взятки гладки, а вот с Ленки... Сукин сын! Взял бы да явился, да спросил бы похорошему, как сыночку-то положено: как вы тут, мол, батька с мамкой, все ли ладненько у вас, все ль у вас в порядочке? Хоть бы мать приголубил, подарочек прислал, как раньше-то случалось. Трудно было — понимал, а теперь, гляди-ко, опушился и про мать забыл. Для кого она старается, рук не покладает?

Вырастили сына, нечего сказать. Видно, сами где-то промах дали. Ленька, он еще каким был сопляком, а ты ему — учись! На дружков не равняйся, они сами по себе, ты — сам по себе. В назъме ковыряться и дурак сумеет, ты повыше целься, к примеру на главбуха. Я тебя главбухом сделаю, пусть нам хуже будет. В нарукавничках будем сидеть и в окошко поплевывать. В чистоте и тепле. Кончишь класс без троек — лисапед куплю. И купил. Родному, может, не купил бы, а приемному купил...

В институт поехал — ты ему условие: не поступишь — на ферму запру, вилы вручу, чтобы испытал, как копейка достается. На отцову не надейся. А поступишь, так последнюю пошлю, мотоцикл куплю в придачу. И купил. И — посылал. Как же, в люди сын выходит... Кончил институт. Инженер-строитель, диплом с отличием в кармане, все пути-дороги перед ним открыты. Далеко ученье Леньку завело, аж на край земли. В Сургут поехал добровольно, никто туда не посылал. Длинным рублем соблазнился. Думал, там задаром деньги платят. Оказалось — нет, и там работать надо. Первое время скулил, просил для поддержки штанов. Посылал. А как же? Сын. Хоть и не родной. Родному, может, не послал бы... К тому же должность поначалу дали невеликую, так себе окладишко, северных не выслужил, а женился рано...

Лет через пять оперился, в должности повысили. А затем как по маслу — что ни год, то повышение. В ту весну, когда близняшки Лорка с Нонной родились, Леньке сорок лет уже сравнялось, прислал письмо: читайте, мол, в газетах — наградили орденом. Начальником строительства назначили. Вроде бы по-твоему и вышло: в люди выбился сынок. Агриппина довольнехонька, а тебе не в радость...

Говорят, чтоб человека до ума довести, его по науке воспитывать нужно. А где ее набраться, той науки, когда сызмала в оглоблях? Агриппина тоже смолоду впряглась, до сих пор не распряжется. Хватит бы уже, всех денег ведь не заработаешь...

— Вот что, мать, — сказал он громко, встав с дивана. — Давай-ка увольняйся. Будет упираться! Пусть мо-

лодые пашут. Нам с тобой не много надо, Колька себя обработает, а на дом за глаза хватит...

Агриппина подняла глаза, и он увидел ее жалкой и измученной, такой, какой сидела на собрании сорок с лишним лет назад, когда, вернувшись по ранению, бригадирствовал в колхозе...

* * *

Весной сорок четвертого отсеялись в срок, пустили на выпас скотину. В последних числах мая председатель колхоза Калижников назначил общее собрание. Вечером собрались в клубе, расселись по местам.

— Как помните, товарищи колхозники, — торжественно начал Калижников, — в прошлом году вы из личных средств собрали деньги на постройку танка... И вот, дорогие товарищи...

В зале заскрипели стулья, прокатилась по рядам разноголосица.

Калижников, выждав с минуту, закончил:

— ...получена телеграмма. Высшая правительственная. Позвольте зачитать... «Передайте колхозникам и колхозницам, собравшим деньги на постройку танка, мой, товарищи, братский привет и благодарность Красной Армии!..»

Последние слова растворились в хоре голосов.

— Неужто сам товарищ Сталин телеграмму дал?

— Сам Верховный нас благодарит!..

Нескоро успокоились, затихли.

— Всем приятно, что там говорить. Пусть наш колхозный танк громит врага на фронте! — подвел Калижников черту. — Второй вопрос, товарищи: подписка на заем... Облигации, товарищи, большая помощь фронту. У меня воюют двое сыновей. И для разгрома ненавистного врага я ничего не пожалею. Вношу четыре тысячи... Прошу последовать примеру. Сам товарищ Сталин нам спасибо скажет!

И — воцарилась тишина, собрание потупилось. Калижников обвел вокруг глазами.

— Пиши две тысячи, Ефимыч, — слышалось из дальнего угла.

У бревенчатой стены на краю скамейки сидела Агриппина. В темном полушалке по-старушечьи на лоб, в темном шабуре... Шамарин знал: прошло полгода, как Агриппина овдовела. В середине декабря родила сынишку, а перед новым годом пришла ей похоронка. Убило Леньку Сумского где-то под Воронежем. Как будто личная вина в гибели давнишнего соперника давила на Шамарина, и он не мог себя заставить взглянуть на Агриппину прямо и открыто...

«Да ведь она совсем сдалась!» — увидел вдруг Шамарин, и что-то лопнуло внутри, легло на сердце тяжестью...

Расходились в сумерках. Шамарин, не прощаясь с председателем, вышел на крыльцо, и, припадая на простреленную ногу, опередив идущих кучкой женщин, быстро пошагал в конец неосвещенной улицы, к дому Агриппины. Встал за палисадником.

Она отпрянула в испуге.

— Не бойся, это — я... Здравствуй, Агриппина.

— Здравствуйте, — промолвила она, берясь за узел полушалка.

— Зачем на «вы»? — он усмехнулся. — Давай на «ты», как до войны. Ведь я всего-то на год старше.

— Зачем ты здесь, Василий?

— Я что хочу тебе сказать... Может быть, не время, но...

Агриппина оглянулась беспокойно.

— Не надо об этом. Прошу!

— Но почему, Агриппина? Леньку уже не вернешь... Надо как-то дальше жить... Жить-то как-то надо?

— Зачем сейчас об этом? Ведь ты прекрасно знаешь, что Леньку я...

Шамарин перебил:

— Знаю. Понимаю. Леньку ты любила — не меня. Но ведь видишь, как все повернулось. Жизнь распорядилась по-другому...

— Ничего-то ты не понял! — Слезы брызнули из глаз Агриппины. — Зачем ты здесь, Шамарин? Уходи! Я не хочу, чтоб видели тебя! Ты думал, слабенькая баба? Сла-

бенькая, да? Да я сильнее тебя, Шамарин. И не нуждаюсь в утешителях. У меня он есть. Один. Сумского ребенок! — Хлопнула калиткой.

Шамарин молча повернул назад. Дома взял початую чекушку. Выпил. Посидел. Шлепнул пятерней по столу, скрежетнул зубами:

— Кто-то кровь там проливал, когда вы тут... со свадьбами! Невтерпеж вам тут!

Слил в стакан остаток водки, выпил и утерся рукавом. Ничком упал на смятую постель.

7

Теперь старик жил ожиданием весны. Он и место под стройку уже присмотрел. На краю села, у озера, за которым — поле и тропинка в лес. Большой крестовый дом под шифером, с верандой дразнил воображение. В двух светлых комнатах окнами на озеро будут жить, конечно, Колька с молодухой. Хорошо б, с Маринкой Козыдаевой, к ней внук равнодушен. В двух других поселятся он и Агриппина. Правнуков и правнучек будет хоровод. Маринка — девка дюжая, такой не в тягость роды...

В феврале Шамарин подал заявление. В сельсовете снизошли — отвели участок там, где старику мечталось. С лесом неожиданно тоже подфартило. На брошенной заимке стояли без хозяина добрые дома. Бревна из гρινного леса лишь забронзовели от дождей и солнца. Семочкин Иван подучил Шамарина обратиться к «самому» — директору совхоза. Старик собрался с духом, нацепил медали и явился соколом.

Директор выслушал внимательно.

— А хватит ли силенок?

— Постараюсь с Божьей помощью!

— На Бога плохая надежда.

— Так ведь мы, Шамарины, настырные!

Директор засмеялся и сказал:

— Будь по-твоему, отец. Перевози дом, стройся!

— А дорого сдерешь? — попытал Шамарин.

— Перевози, а там посмотрим!

Весной должны были пожаловать знакомые «грачи» во главе с бригадиром Казбеком. С ними надумал старик сговориться. Кроме того, полагался на помощь соседа, враждовавшего с Семеном Казыдаем. Теплилась надежда и на сына, думалось, уладится, восстановят на работе, заговорит в нем совесть, прилетит помощь.

Зиму следовало как-то скоротать, и тут случайно подвернулась работенка. Казыдай предложил починить изношенную сбрую. Лошадей в совхозе оставалось еще предостаточно, но купить упряжь в сельмаге или где-то на стороне, как в добрые старые времена, оказалось невыполнимым делом. Раньше шорничал в Осихине Семочкин Антон, но теперь мотался по стране от сына к сыну.

Шамарин согласился без сомнений. Ремесло знакомо, посильная, непыльная работа. Лишняя копейка к пенсии прибавка. Как-никак немалые расходы впереди. А главное, директору или Казыдаю не раз еще придется поклониться. Песок, к примеру, рядышком, в карьере, а на себе не привезешь...

Поначалу вставал рано, суетился по хозяйству, завтракал, бежал на конный двор. В конюховке для него отгородили закуток, где новоявленный шорник поставил верстак, вожжами и супоньями увешал стены. Там день-деньской толпились конюхи и скотники, курили, пили крепкий чай, травили анекдоты. Старик невольно отвлекался, подсаживался в круг.

Заказов с каждым днем все прибывало, от седелок, дуг и хомутов негде стало развернуться, но производительность труда оказалась крайне низкой, и через месяц по наряду причиталось с гулькин нос. Шамарин перестроился. Теперь с утра он отсыпался, а после шести вечера, когда конюховка пустела, отмыкал мастерскую, не отвлекаясь на треп, успевал к полуночи сработать вдвое больше, чем до этого за пару дней.

В один из таких вечеров старик сидел с хомутом на коленях, с шилом и дратвой в руках. В окошко скоблилась поземка, ледяным узором обрастало с улицы стекло. Пахло кожей, варом, конским потом...

*Во середу, ба-абка,
Во середу, Лю-убка,
Во середу, ты моя
Сизая голу-убка! —*

на одной ноте гнусавил старик, когда вдруг током дернула догадка...

Взволнованный, вскочил со стула, охнув, присел на затекшие ноги. Стряхнул с коленей нитки и кусочки кож, прислонил хомут к стене и, примкнув конюховку, спотыкаясь в снегу, припустил домой...

— Ты не спишь, Агриппина? — с порога крикнул в горницу.

Прошел месяц, как она уволилась. Днем возилась по хозяйству, вечером пряла или вязала. Связала свитер Лениду, внучкам — теплые носочки, варежки себе и старику. Привыкла к телевизору. С особым нетерпением ждала репортажей Лещинского...

Со спицами в руках вышла Агриппина.

— Наших только что казали.

— Ну и как там, в горах, обстановочка? — Шамарин бросил валенки на печь. — Не сдались мятежники?

— Черт их выкурит из гор! Опять в кишлак какой-то просочились, наделали беды.

Старик скользнул в комнату внука.

— Где у нас Колькина музыка?

— В шифоньер прибрала.

— Тащи ее сюда!

— Зачем?

— Давай без разговоров!

Агриппина забурчала, принесла магнитофон.

— Чего опять удумал?

— Будем музыку гонять!

Агриппина выразительно крутнула пальцем у виска.

Шамарин сел за стол, включил магнитофон. С ровным шелестом тронулась лента в катушках, воскресив хрипловатый басок покойного деда Калижникова...

«...Егор Евтихийч, прадед твой, мне хорошо запомнился. Всегда вокруг него ребята хороводились. Польку танцевал — не налюбуйешься... Сызмала страстишка к лошадям была. Это вот теперь у нас лошадок обижают, а тогда у самого плюгавого хозяина коняга на дворе стояла. Местные купцы любили позабавиться. И — умели, нечего сказать. На масленку съезжались, бились об заклад и назначали скачки. Лучшим бегунцом у нас считался мерин Огонек купца Парыгина. Парыгин Егора всегда в седоки назначал. Вот раз он заложил в заклад быка-производителя, а Егор возьми да упади во время скачек. Проиграл Парыгин лучшего быка и при всем честном народе кнуток Егора опоясал. Тот — в отца характерный! — схватился за оглоблину, насилиу растащили. Но злобу парень затаил. Скараулил купчишку на озере, в прорубь головою окунул. Окунул и скрылся. Да... Матушка ревмя ревет: грозит Егору каторга. А он исчез и объявился ажно в... восемнадцатом году. Да не один, а — с кем бы думал? — с сапожником Макаровым. Был такой в Осохине... В седьмом году пригнали в ссылку группу политических. Все они работали у местных, у купцов, а этот все сапожничал, портняжил.

Как раз колчаковцы на Каменку прошли, кругом лютуют да свирепствуют, купчишки головы подняли, Парыгин на Евтихия косится. И тут Егор с Макаровым явились. Егор раздался, возмужал. Собрал народ на площади. Так, мол, и так, мужики, не давайте сынов Колчаку, он Россию продал за границе. Созвали сход призывников. Решили прятаться в лесах до прихода красных...

Затем Егора и меня направили к соседям. А там всю призыв. Народ гудит на площади. Егор взобрался на повозку: против кого, мужики, сыновей посылаете? Уговорили прятаться. В ночь поехали назад, а навстречу — верховой: банда, говорит, в Осихине. Парыгин, сучья кровь, привел отряд из Каменки. Схватили двух уполномоченных и твоего прапрадеда. Принял смерть от рук бандитов...

А другой раз он вернулся в девятнадцатом году. С пулей в правом легком. Уже не богатырь. И не один — с женою Феодосией, из смоленских, видно, поселенцев. Назначили Егора в продотдел волисполкома, а председателем поставили Макарова...

В тридцатом году приходит приказ: к посевной — кровь из носу дай коллективизацию. Из Каменки прибыл уполномоченный Зотов. Как сейчас его вижу. Росточком с Кузьку Кролика, а поперек — два Кузьки. Рожа гладкая, в очечках, а за очечками — две точки, как у карася. Карасем и окрестили. В земле ни в зуб ногой, но голосок поставлен, командовать умел. Как только против шерстки, так и жди беды. Уродит же природа, прости меня, Господи!..

Ладно. Сколотили мы коммуны. «Зажилось бедняку» называлась. Егора — в председатели, а он уж кровью кашлял, таял на глазах. Карась его и доконал. Открыли по его распоряжению общую столовую, каждый день по коровенке забивали. Тут и схлестнулся Егор с Карасем. Скот, кричит, переведем! Карась пыхтит да точками буравит: ты, Шамарин, дескать, ни хрена не петришь в смысле агитации. Егор — к Макарову в район, того туда уже забрали. Чернее тучи воротился. Видел и Макаров, не туда нас занесло, скот под нож вчистую пустим, но колесо не остановишь... Бойню, правда, прекратили, но полстада уже извели. От пуза напिताлись! Да... Потом — статейка Сталина в газете. Про головокружение. Коммунары — за добром на общий двор. Чисто подмели. А Карась Егора в перегибах обвинил...».

На этом запись обрывалась. Шамарин отключил магнитофон. Обманулся старик — не услышал он голоса внука.

Но подкатило к сердцу беспокойство.

«Зачем ему все это? Что за любопытство? Случайно или нет?»

А на завтра развернулась цепь событий, надолго затмивших возникшую тревогу.

8

Другой месяц ждали весточку от внука. Агриппина, стоя у калитки, вечерами поджидала почтальонку...

— Что-то долго писем нет от нашего солдатика. То ли недосуг черкнуть, то ли обленился, — вздохнула за столом. — Всяко передумала. Не в Расее служит — на чужой сторонке. Вчера Лещинский говорил: в какой-то там провинции банду разгромили. Должно быть, смертная драка была... Кабы с Коленькой беды не случилось.

— Кабы, кабы! — перебил старик. — Жуй давай, не думай о плохом!

— Да если бы не думалось!

Думалось, конечно. Старик давно уже заметил — стосковалась Агриппина по любимчику. Письма от внука до дыр зачитала, на карточку, что к Новому году прислал, не наглядится. Вот и третьего дня воротился из бани, а она у телевизора.

— Отец, бежи скорей сюда. Вроде Кольку кажут!

Шамарин опрометью кинулся на зов.

— Где ты Кольку усмотрела?

— Да вот же он, с ружьем на танке!

— Тю-ю ты, старая, — поморщился старик. — Не с ружьем, а с автоматом. Не на танке, а на бэтээре. И не Колька вовсе, а какой-то азиатец. Что ж ты внука с азиатцем спутала?

Агриппина всмотрелась в экран телевизора, проронила сконфуженно:

— А улыбкой на Кольку похож!

Ждали вести из Кабула, а дождались из Сургута. Из многословного письма трудно было что-либо понять, ясно было лишь одно: Леонид под следствием, мера пресечения — подписка о невыезде. В вину вменяются приписки...

Агриппина схватилась за голову.

— Ох, лишенько мое-е! Что ж ты молчишь, отец? Что же теперь будет?

— А то и будет, что заслужено, — оборвал Шамарин. — Знал, паскудник, на что шел. Вот тебе и несерьезно! Вот тебе и ненадо-олго! Отличился, мать твою!.. Покоритель Севера! — Старик махнул в отчаянье рукой и умолк до вечера.

Перед тем как уйти в конюховку, подозвал Агриппину.

— Вот что, мать, скажу... Просуши глаза-то, слезы пригодятся. Про Леонидову беду никому ни слова. Мало ль в чем предъявят обвинение! Пусть сперва вину докажут. Кольке тоже ни о чем не сообщать. Ему тем более не надо. Не дай, Господь, Глафира сдуру написала...

— Так что же делать-то, отец? Сидеть да ожидать?

— Ожидать не дело... Ты вот что, Агриппина, слетай ненадолго в Сургут. Разведай, что и как. Попытай, чем дело пахнет.

— А ты? Боюсь одна. На самолете не летала.

— Меня они не ждут.

— Да брось ты, в самом деле! Об этом ли сейчас?

— И дома есть дела... Если Ленке срок горит, тогда уж станем думать. Эх, жизнь-жизняка! — закончил неожиданно. — Кому цветы, кому крапива. Вот о чем в старости думать приходится!

Через неделю он проводил Агриппину, а еще через день, в воскресенье, из трех отпускников сколотил бригаду для разборки дома...

Тем временем сосед помирился с Казыдаем. Примирила родственников свадьба. Казыдаева Маринка вышла за врача. Молодые пригласили, и не пойти поздравить новобрачных Дарья мужу не позволила. За свадебным столом Казыдай с Иваном оказались рядышком... Два дня в селе гуляла свадьба, а на третий Семочкин Иван, похмельный и смурной, подъехал за расчетом к заводской конторе уже на прежней своей технике. Шамарин по-смурнел. Во-первых, жгла обида на Маринку за измену внуку, а во-вторых, он понимал: теперь Иван ему на стройке тоже не помощник. Полным ходом шла в совхозе вывозка соломы, не за горами — посевная...

* * *

Как и ожидалось, бригадир шабашников Казбек привез своих «грачей» сразу после Первомайских праздников. Пятеро крепких парней в одинаково ярких ветровках с утра ошивались возле конторы, а после обеда в

сопровождении Казыдая направились к заброшенной избе на краю села.

Вечером Шамарин подоил корову, слил удой в ведро и явился в гости. «Грачи» обживали гнездо. В заброшенной избе гремел магнитофон, обмазывалась печь, протирались окна. Бригадир — высокий худощавый парень с горящими, как уголья, глазами — отдавал распоряжения.

Шамарин знал: Казбек — не простачок в строительстве. Когда-то он окончил институт, работал мастером, прорабом, но, как признался в разговоре при знакомстве, оклад без перспективы не устроил. «Не тот, дед, аппетит». Уволился и, сколотив бригаду, кочевал по городам и весям.

— Ну что, Казбек, — глаза в разбег, девок наших шурудить приехал? — изрек Шамарин с деланной веселостью, едва успев переступить порог.

— А что, имеются достойные? — Казбек обернулся на голос. — Кого я вижу! Дед Шамара! Собственной персоной! Прошу в апартаменты!

Старик глянул на вымытый пол, на сапоги, обляпаные грязью.

— Я лучше на порожке посижу. — Сел и достал папирсы. — Молочка вот вам принес, чтоб не отощали у нас с ходу.

— Молочко — хорошо. Налетай, братва, пока дают!

«Братва» тотчас окружила ведро, пустила по кругу литровую банку.

— Надолго прибыл к нам? — попытал Шамарин.

Казбек лукаво усмехнулся, широко развел руками.

— Если каждый вечер будет молоко, есть ли смысл отсюда уезжать?

— Ну-ну. Ухо-парень, — одобрительно хмыкнул старик. — Могу и каждый вечер помаленьку приносить, было бы за что.

Казбек взгляделся испытующе и присел на корточки.

— Выкладывай, Шамара, с чем пожаловал.

— Да просто так. Соскучился по вас!

— Ладно, не юли. Ты просто так не явишься!

Шамарин задавил окурочку каблуком.

— Дом надумал ставить. Помогите.

— Ого, — сказал Казбек. — Замах достоин уважения!
— Не для себя — для внука. Воюет он в Афганистане.
Казбек вздохнул, распрямылся.

— Афганцев мы, конечно, уважаем и старость тоже чтим. Но с совхозом у нас договор на две коробки, а это — четыре квартиры. В срок не сдадим — полетит аккорд, моим парням обидно будет... Допустим даже, время выкроим, дом тебе поставим, как рассчитывать станем? По наряду, как в конторе? Мы — не тимуровский отряд. Они, — кивнул он на парней, — приехали за деньгами.

— Так разве я не понимаю? В обиде не останетесь!

— Вот это другой разговор, — хлопнул по плечу Казбек. — Но оплата — поэтапно. Фундамент гарантирую за месяц. Все остальное — без гарантии. Идет?

Старик насторожился.

— Это как же — без гарантии? Могу сделать, могу нет? Так, выходит, нужно понимать?

— Будет время, будет из чего, сделаем и стены. А не будет — извиняй. Зимовать у вас не собираюсь. Устраивает, нет?

Шамарин призадумался, взвесил «за» и «против». Как ни поверни, а шаткий, хлипкий вышел договор. Но и отступить нельзя. Лиха беда начало! Он вскочил, сапогом опрокинув пустое ведро.

— По рукам, бригадир. Но гляди, без причины не взбрыкни. Я теперь с тебя не слезу!

Не от хорошей жизни согласился на Казбековы условия.

9

Ранней и дружной выдалась весна. Прошумевшие с северо-запада ветры в три дня разогнали серое марево неба, явив на смену солнечную синь. С полей согнало снег, по канавам грязными потоками хлынула вода. Под заборами поперла в рост крапива, с веселым перезвоном застучали топоры на Новой улице. К Шагову Кузьме заехал сын — отправился по дальним деревням писать о посевной...

С наступлением тепла Шамарин сдал ключи от шорни Казыдаю, с головой ушел в заботы по строительству. На облюбованном участке разметил основание фундамента и однажды вечером усталый, но сияющий явился к бригадиру, встал по стойке «смирно».

— Фронт работы обеспечен. Выполняй, Казбек, гарантию!

На копку траншей под фундамент Казбек отрядил двух парней. Землекопы, прибыв на место, удивились размаху шамаринских планов и, побросав лопаты, с междвора пригнали экскаватор.

Срочно требовались цемент и песок. Старик сходил к директору, тот великодушно разрешил воспользоваться трактором. Последующие дни и вечера Шамарин проводил на берегу. Сам измерял глубину разработки грунта, следил за устройством опалубки, за дозировкой бетона, лез к строителям с советами и тем мешал работе. Он был настолько увлечен осуществлением мечты, что временами забывал и про обеды-ужины, и про голодную скотину на дворе. Выручала Дарья. Благодушная соседка выдаивала Жданку, кормила поросенка...

Вернулась Агриппина через месяц. Старик тем временем пришел разбитый и понурый. Третьи сутки не являлись на объект «грачи». Днем пришел к Казбеку, но тот развел руками: на «коробках»-де запарка, придется обождать. Собиралась первая гроза, а цемент в бумажных порванных кулях валялся на траве. Брезента под рукой не оказалось. Свистнули брезент! Шамарин, матерясь, сбежал в конюховку, принес дождевиков...

Встретил Агриппину нелюбезно.

— Рассказывай, что там у Леньки. Давай добивай окончательно!

— Порадовать-то нечем, — сказала Агриппина.

Ленька духом вроде бы не падал, храбрился перед матерью, корил жену за паникерство, забавлялся с дочками. Уверял: большой вины не значит за ним, если что и есть, то пустяки, за это не сажают. Были, говорил, отходы от инструкций — кто их нынче соблюдает? И при-

писки были по нажиму сверху, но все, мол, в интересах коллектива и в разумных рамках, ни копейки к пальцам не прилипло. Но уже продал машину и закрыл сберкнижку...

— А девчушки — Лорка с Нонкой — вылитые мать. Такие ж одуванчики белехоньки! — неожиданно ввернула Агриппина. Мечтательно добавила: — Они теперь мне сниться будут!

— Бу-удут, будут! — подтвердил старик. — И Ленька долго будет сниться. Машину, значит, в деньги обратил?

— За полцены отдал, ага.

— Значит, дело пахнет керосином. Конец ему подходит!

— Ты уж скажешь, тоже мне!

— Хорошего не жди. — Старик задернул занавеску.

Прогремел за поскотной гром, за грядой деревьев полоснула молния.

Агриппина несмело под села к столу.

— Зря мы затеяли с домом... Давай, пока не поздно, остановимся. Вот и Ленька тоже против.

— Ты к чему это клонишь? — набылчился старик.

— Да все к тому. Машину Ленька продал, дачу Глаша не позволила. Что же мы, единственного сына разорить допустим?

— И что ты предлагаешь?

— Собрать три тысячи рублей... Чтобы полностью вернуть, что насчитали, и душа на месте.

— Так что же, не напрасно насчитали? Прилипло все-таки к рукам? Чего же ты скрываешь?

Агриппина всхлипнула:

— Да разве допытаешься у них?

Шамарин медленно и скорбно отвернулся.

— Вот что, мать, скажу последний раз... От дома я не откажусь, Леньке ни копейки не пошлю. Сумел набедокурить — сумей ответ держать. Девчонок, если что, не брошу. Кольку на ноги поставил, и внучек подыму.

Агриппина соскочила с табуретки, диковато поглядела на Шамарина.

— Да потому ты жмешься, что он тебе не кровный! Был бы он тебе родной, тогда б ты по-другому рассудил!

Старик побагровел, завращал глазами.

— Во-он ты как заговорила! Вспомнила, что Ленька не родной? Раньше ты о том не поминала. Я вскормил, вспоил его! В люди худо-бедно вывел! И теперь не для себя пластаюсь день и ночь. Для кого стараюсь?

— Не о внуке — о себе ты думаешь, отец!

— Ка-ак она заговорила!

— О старости печешься!

— Замолчи ты, твою мать!..

— Только о себе и думал всю-то жизнь! Только для себя и жил!

— Замолчь, не то прибуь! — Старик вскочил, затрясся. Грохнул кулаком. В уголках бесцветных губ запузырилась серая пена.

* * *

Третий день старик драл мох на Клюквенном болоте. Под завязку набивал мешки, по зыбкому, в воде, кочкарнику на загорбке выносил в березовую рощицу. Уходил из дому спозаранку, приходил впотьмах. С женой не разговаривал. Она молчком возилась по хозяйству, лишь во вторник утром спросила как бы ненароком:

— Забыл, какой сегодня день?

Старик пожал плечами.

— Завтра пенсию дадут...

— Кольке девятнадцать лет сравнялось. Ты забыл, а я вот помню.

Сглотнув шершавый ком досады, Шамарин вышел из дому. «Чисто грызь зеленая! — ругался про себя. — Так и норовит больнее ущипнуть!»

Мрачно чертыхаясь, целый день елозил на коленях с сосущей болью на душе. Вечером хотел зайти на конный двор спросить на завтра бричку, но боль не унималась, смутная тревога нарастала, и старик, минуя огороды, вышел против дома.

Вышел и стал на дороге как перед незримым забором. На дворе, у крыльца его дома, кружком стояли и курили мужики. В черном полушалке из сеней

скользнула к мужу Дарья, истово крестилась на ступеньке Мотря.

Старик шагнул и покачнулся. Кровь ударила в виски, руки опустились...

Навстречу вышел Семочкин.

«Кто?» — спросил старик застывшими глазами.

— Крепись, сосед, — сказал Иван.

Шамарин, отстранив его с дороги, медленно приблизился к крыльцу. Страшный, леденящий душу стон жены волной ударил в грудь. Старик повел по сторонам остекленелыми глазами.

Дверь открылась, вышел военком...

— Не-е-ет! — тягуче выдавил старик. — Не-ет! Не может быть!.. — В странной ухмылке искривились губы, выгнулась бровь, дернулось правое веко. — Го-осподи! За что-о-о?

Мужики потупленно молчали.

...Ночью старика парализовало.

10

Первые полмесяца он провел в оцепенении — в каком-то странном состоянии полуяви-полузабытья. Накрытый легким одеялом, лежал бревном на жесткой койке с продольным рядом гладковыструганных досок под сплюсненным матрацем, потухшими глазами уставясь в потолок, иссиня-белые стены больничной палаты. Будто сквозь зыбкий туман различал деловитые лица врачей, медсестер, узнавал Агриппину и сына. Улавливал отдельные слова, но не имел ни сил, ни воли, ни желания проникнуть в суть происходящего.

Врач-невропатолог — рябоватый, средних лет мужчина с мягким окающим говором — во время утренних обходов оплетал руками немощное тело старика, женственными пальцами ощупывал больного.

— Ничего-о, старина, не тужи, не печалься, — ворковал он неизменно. — Не таких, как ты, случалось подымать, видывали вовсе недвижимых!

В благодарность за хорошие слова старик выдавливал подобие улыбки, шевелил перекошенным ртом, издавая невнятные звуки.

— Вот и сла-авненько, о-очень недурственно, — одобрял невропатолог. — Ишь как мы разговорились! Прямо Цицероны!

Тянулись долгие часы в тягостной дремоте. Все чаще у больного появлялась Агриппина, потом ее визиты стали ежедневными. Оставив дом, хозяйство на соседку, Семочкину Дарью, она почти переселилась в Каменку, дневала в райбольнице, ночевала у сестры. По утрам садилась в изголовье, горестно глядела на иссохшие, как плети, руки старика, брала их на колени, втихомолку плакала, вздыхала. Трижды в день из ложечки кормила мужа чем-нибудь домашним, поправляла простыни, подушки, выносила и опрастывала «утку»...

Только через месяц старик как будто бы очнулся, в глазах появились осмысленность, смятение. Невропатолог — Борис Соломонович Бологов — с каждым днем все настойчивей требовал новых движений. Обхватывал Шамарина за плечи, усаживал на краешек кровати, велел «работать ручками и ножками», неестественно бурно выражал свой восторг по поводу первых успехов больного.

Еще через полмесяца смог встать самостоятельно. Привлакивая ногу, держа, как куклу, на груди, беспомощную руку, осторожно, мелкими шажками брел больничным коридором на процедуры. Соседи по палате держались с ним подчеркнуто внимательно, упреждая все его желания, старались угодить. Старик ловил сочувственные взгляды, но от участия таких, как сам, «горе-иноходцев» (так окрестил их Бологов), становилось мутно, он зачастил в больничный сквер, где проводил часы в уединении. Здесь, на скамье под раскидистым тополем, и заставала его Агриппина.

Речь возвращалась к Шамарину медленно.

— Коль-ху... ках...пох-нили? — провернул однажды непослушным языком, с мольбой и болью глядя на жену.

Агриппина, сложа руки на колени, умильно и спокойно, как о чем-то давнем, отболевшем, рассказала о похоронах...

Внука хоронило все Осихино. Были представители от райвоенкомата, Совета ветеранов. Было по венку от школы, от совхоза и от райкома комсомола. Был на заводе прощальный гудок, играл оркестр из Каменки, был над могилой траурный салют. На неделю отпустили Леонида. Было, наконец, письмо от командира...

— Хорошее письмо, — сказала Агриппина.

Старик кивнул и промычал:

— Это, мать, за грехи мои... кара.

* * *

Удушливо-знойным выдался в Каменке август. Красный столбик термометра на оконной раме процедурной прочно зацепился на отметке «30». По-прежнему свободные часы Шамарин просиживал в сквере, раза два он заснул на скамье, опоздал на дневные уколы, за что получил нахлобучку и безобидное прозвище...

— Нуте-с, скверный вы мой человек! — с упреком ворковал невропатолог. — Повернитесь-ка сюда... О-очень хорошо. Поработайте, любезный, ручками... Прекрасно! С такими успехами скоро поедем домой. А пока — разрабатывать пальцы. Физкультура, друг мой скверный, первый наш союзник. Больше движений! Возьмите ручку, карандаш, пишите, что взбредет на ум, чертиков рисуйте, наконец... Развивайте кисть!

Шамарин выздоравливал. Речь с каждым днем становилась ясней и отчетливей, правая рука уже держала ложку, да и нога не волочилась...

Окна в солнечной палате были наглухо зашторены, форточка открытой оставалась на ночь, но духота мешала сну. На стене над изголовьем беспрестанно бормотало радио, оно сперва не занимало старика. Он, как и дома, в Осихине, слушал лишь сводку погоды, сверял по сигналу часы, но в последние дни от избытка свободного времени все чаще вникал в передачи...

Поражали новизна и значимость ранее затертых слов и выражений. Все громче в черном цвете поминались сталинизм, репрессии, застой. На все лады склонялись имена, казалось бы, пупов земли, незыблемых авторитетов, так что временами находила оторопь, боязнь чего-то предстоящего, его непонимание, а потому и неприятие. Все чаще и настойчивей звучали как призывы к действию совсем непостижимые слова о перестройке, демократии и гласности. Старик интуитивно понимал: грядут очередные перемены. Но в чем их суть? Немало было на его веку громких слов о разных переменах, но время шло, Осихино стояло, как стояло сто и двести лет тому назад, страсти угасали, и трескотню, как тучу ветром, относило в сторону...

Раздражали разговоры «иноходцев». Их было трое с ним в одной палате: балагур-радикулитчик Веня Сибирев (прихватило на охоте, в шалаше, десять километров до поселка преодолел буквально на карачках, о чем любил живописать, при этом сам смеялся над собою громче всех), водопроводчик Фока Швец — тщедушный мужичонка лет под пятьдесят, известный всей больнице тем, что ежегодно проходил лечение от пьянства, и инженер-технолог местного заводика интеллигентный Громов Алексей Иванович, которого за трубный голос обитатели палаты звали просто Громычем.

По вечерам они лежали на кроватях, шебаршили свежими газетами, заводили разговоры на такие темы, от которых старику становилось жутко одиноко и хотелось потихонечку скулить. Однажды он не выдержал и встрял:

— Эко ладненько вы судите о прошлом! Легко вам по газеткам-то судить, валяючись в постельках. Хреново, видишь ли, живут. Америка вперед угнала! Завидки берут? А кто вам виноват? Работать — из-под палки. Спились. Искобелились. На Сталина валите всю вину. Такого-рассякого! Эх, встал бы он да поглядел, до чего дожили. Давай им демографию! А что оно такое, с чем ее едят? Назад бы вас годочков так на сорок. Поглядел бы я, чего б натворили. Без желез-

ной-то руки. Разболтались, слушать тошно! Кабы за язык не погорели!

— Каким же это образом? — смеялись «иноходцы».

— Обыкновенным, вот каким. Раньше тех, кто с языками, живо прибирали дядины ребята, чтоб людей не баламутили. — Старик насупился и повернулся на бок.

— Теперь другие времена, — возразил интеллигентный Алексей Иванович. — Говори что думаешь. Думай как умеешь. На то и перестройка.

— «Перестройка», «перестройка!» — пробурчал Шамарин. — Что оно такое, ваша перестройка? Мне сосед однажды анекдотец рассказал... Встретились два пса. «Ну, как, брат, жизнь собачья?» — «По-старому. А как, мол, у тебя?» — «Я, брат, перестроился. Цепь на метр удлинили, миску отодвинули на два, зато гавкай сколько влезет...» Это перестройка?

Соседи по палате закатились смехом.

— Дай-ка, батя, лапу! — вскинулся тщедушный Фока Швец. Он подскочил к кровати старика. — Водку и ту запретили. Никакой отдушины трудяге не оставили. Какая, к черту, перестройка?

— А сам-то за язык свой не боишься? — простонал со смеху Сибирев.

— Я свое отбоился. Меня теперь ничем не напужаешь.

«Да и какая тебе разница, что сейчас творится? — к одному сводились размышления Шамарина. — Хорошо ли, плохо ли, ты свое прожил. Ты теперь человек посторонний. Жить молодым — им и разбираться».

За неделю до выписки озадачил просьбой Агриппину.

— Купи мне, мать, тетрадку. Сегодня же купи.

— Никак, письмо в Сургут собрался написать? — просияла Агриппина.

— Может быть, и Ленке напишу. Много мне теперь писать придется. Доктор приказал. — Шамарин тронул Агриппину за рукав. — Ты поезжала бы домой. Загостилась в Каменке. Там ведь, дома, все, поди, заброшено, запущено... Жить-то дальше думаем иль нет?

— А куда, отец, деваться? Надо как-то жить.

— Вот и поезжай. Купи мне что велел и — с Богом. Я теперь самостоятельный.

11

Тем же вечером, когда «иноходцы», отужинав, упделись в вестибюль к телевизору, старик придвинул тумбочку к кровати, раскрыл тетрадь и надолго задумался. Затем вздохнул и вывел посредине чистого листа:

«Моя автобиография

Я родился 23 декабря 1922 года в с. Осихино Каменского района. Тятя мой, Егор Евтихьевич, скончался в 49 лет от легочной болезни по причине пульного ранения. Матушка, Феодосия Наумовна, работала в коммуне и колхозе. В семье нас было трое гавриков: старший — я, за мной — брат Гриша, и последнею была сестричка Тонюшка. Ее совсем не помню, померла она грудной.

Кончил я 5 классов и пошел в колхоз, потому что тятя уже не поднимался, а кормиться, одеваться-обуваться надо было. Весной со дворов вывозил на поля навоз, а зимой и летом делал разную работу. В 39-м году колхоз сдал госпоставки, выдал хлеб на трудодни и еще отправил в закуп сверху плана. За то продали нам движок, вздохнули вроде бы свободней. Сдали две тонны зерна, купили матушке жакетку, а мне — сатиновый костюм и патефон — начал я ухлестывать за девками. Приглянулась Агриппина, но в тот год приехал Сумский, и она ходила с ним.

Зимую тятя помер, а через месяц мы узнали, что друг его, Макаров, арестован как злейший враг народа.

Когда объявили войну, Семочкин Антон и я пришли в военкомат, но нас обратно завернули: понадобится — вызовем. Но вскоре мы добились своего. Боевое крещение принял под Смоленском, а в августе 42-го война для меня закончилась...

Получил я свою долю — тяжелую контузию и два осколочных ранения. Очнулся только в госпитале. Когда

немножечко пришел в себя, узнал, что спас меня Антон. Вынес на руках. До апреля 43-го продержали меня в госпитале, ногу не оттяпали, но комиссовали. Сестры милосердия посадили меня в поезд, вручили костыли и документ. От станции до Каменки добрался на попутке, около чайной встретил Кузьку Кролика, которого на фронт не брали, потому что был он глух как стенка и малость интересный.

Взяли мы с Кузьмой чекушку и зашли в чайную обогреться. Там он мне и доложил, что матушка моя скончалась в декабре, что избенку нашу он заколотил, а письма-треугольнички от брата Гриши и похоронка на него хранятся в сельсовете. Что погиб мой братка возле станции Подгорная Ленинградской области, а Ленька Сумский справил в марте свадьбу, но вскорости призвали и его. Агриппина перешла к старухе матери и ждет от Сумского ребенка...

Когда приехали домой, я зашел в осиротелую избу, заперся на крючок и от души повыл, чтоб малость отлегло от сердца. Затем сходил на кладбище, на могилки матушки и тяти. Отудова подался к Кузьке Кролику, спросил у него самогонки. Когда Кузьма со мной маленько выпил и свалился спать, я снял его ружье со стенки, спрятал под шинель и пошел домой, потому что жить мне расхотелось вовсе. Дома было холодно, я принес охапку дров, натопил плиту, поставил чайник греться. Но чайник закипел, и я себе сказал: дурак ты, Васька, будешь, коли так. Не для того ты горе мыкал, чтобы за просто сейчас убраться на тот свет. Убраться лучше было бы под Плаксином. А если Бог тебя от смерти уберет, стало быть, ты Богу нужен. Раз ты выжил, то теперь по-давно должен жить. За себя, за братку Гришу. Ты на то теперь имеешь право.

И стал я жить.

Председателем колхоза был Калижников Михай, до войны — учитель, а в молодые годы — участник первой мировой, сибирский красный партизан. Наутро он зашел за разговором о работе, стали думать вместе, куда мне притулиться. Остановились на конторе. Стал я вроде писаря-бухгалтера. С утра сажу в правлении,

дымлю как паровоз, на счетах брякать научился, перышком поскрипываю. А бабы надрываются, дети продыху не знают, школу позабросили. Я знай себе считаю да пишу. И стыдно мне, и муторно, а куда деваться?

Весной я бросил костыли, стал таскаться с палочкой. Прихрамывал еще, конечно, сильно, но в конторе стало мне невмочь, на мужицкую работу потянуло. И пошел я бригадиром полеводческой бригады. Одного не рассчитал: была в бригаде Агриппина, и не видеться мне с нею было невозможно...

9 мая 45-го года бороновали третье поле. На дороге показался всадник, который что-то издали кричал. А примчался Кузька Кролик и кричал, чтобы живо распрягали лошадей и ехали в правление, потому как передали, что кончилась война. Помаленьку с фронта стали возвращаться уцелевшие, Калижников Михей толкнул меня на должность председателя колхоза, а сам вернулся в школу. Пришел живой и невредимый Семочкин Антон, и встреча наша получилась братской — век не позабуду. Его назначили на должность председателя Совета...».

* * *

Всю последнюю неделю старик провел над автобиографией. С каждым днем писалось все трудней. Не потому, что затекали пальцы, деревенела правая рука. История жизни Шамарина, безотрадная, но и бесхитростная, словно нить, скользившая в игольное ушко, неумолимо приближалась к узелку.

* * *

В разгар косовицы 1948 года его с Антоном вызвали в райком. Шамарин впряг коня и ходок, прихватил на всякий случай сводку сенозаготовок. Первый секретарь райкома партии Зеленский, подперев ладонью гладко выб-

ритую щеку, казалось бы, старательно вникал в поток цифири, но видно было по его блуждающему взгляду и вялому течению разбора, что главное, зачем собрали руководство, — впереди.

Не прошло и получаса, как дверь бесшумно отворилась, по зеленой ковровой дорожке к столу секретаря мелкими шажками прокатился грузный человечек в португее, с маленькими рыбьими глазами за выпуклыми стеклами очков. Человек прошел к столу, плюхнулся на стул, утер платочком красный лоб.

Первый секретарь поспешно встал, смахнул на край стола бумаги. Оглядел притихших председателей, как бы проверяя, все ль на месте.

— Слово имеет особоуполномоченный НКВД товарищ Зотов. Прошу минуточку внимания!

Утвердительно кивнув оплывшим подбородком, человечек медленно поднялся.

«Так ведь это же Карась!» — обомлел Шамарин.

— Товарищи! — неожиданно зычным, поставленным голосом начал уполномоченный. — Победоносно завершив Отечественную войну, советский народ под руководством Коммунистической партии и лично товарища Сталина приступил к мирному социалистическому строительству. Нно! — Зотов сочно щелкнул языком, поверх голов руководителей погрозил коротким пухлым пальцем. — Враги не примирились с нашим строем. Не отказались от коварных планов. Не смирился с поражением и внутренний наш враг. Предатели, вредители и прочие — да, да, товарищи! — вся эта нечисть в бессильной злобе скрежещет зубами!

Шамарин ткнул локтем Антона в бок.

— Узнал? — шепнул на ухо.

Антон не шелохнулся.

Шамарин мельком взглянул на него и прикусил язык: Антон сидел как изваяние...

Зотов, раскрасневшись, продолжал:

— На прошлой неделе в березовом колке близ села Осихино женщины-ягодницы встретили двух незнакомых мужчин подозрительной внешности, один из которых был вооружен. Вероятно, дезертиры... В связи с

этим, товарищи, просьба такого характера. Почти в каждом колхозе, в каждом селе имеются семьи пропавших без вести. Прошу взять такие семьи под особый, так сказать, контроль... Где гарантии того, что двое неизвестных, встреченных в лесу, не из нашего района или не из нашего, товарищи, колхоза? Нет такой гарантии. Прямо скажем — нет. А потому прошу вас убедительно — будьте начеку, держите ушки на макушке. Враг коварен и хитер. — Зотов, сложив влажные губы в мясистую трубочку, выдохнул шумно: — А может быть, не дезертиры... На днях в Среднесибирске был замечен лютей враг Советской власти, осужденный за измену Родине. Личность этого преступника многим хорошо известна. Это — некий Макаров, одно время бывший, к нашему стыду, в штате исполкома... В мае месяце бежал, до сих пор не схвачен. Не исключено, что может объявиться либо в Осихине, либо в Каменке, где когда-то находился в царской ссылке... Поэтому прошу вас персонально, товарищи Шамарин и... — Зотов замер с вопросительной протянутой рукой.

— Семочкин, — привстал Антон со стула.

— Так вот, своих людей вы знаете. Подумайте, прикиньте... Если что сочтете нужным нам сказать, милости прошу!

...Всю обратную дорогу Шамарин мрачно погонял рысавшего коня. Муторно и пасмурно было на душе. Антон подавленно молчал.

— Какая все же сволочь! — сорвалось у него, когда ходок, свернув с дороги к озеру, запрыгал на колдобинах.

Шамарин разнуздal коня, подвел его к воде. Оба председателя присели на мурок.

— Какая сволочь, а?! — Антон скривился от презрения. — Ведь это надо же додуматься: взять под особый контроль! Как язык-то повернулся? — Он боком распластался на траве, сорвал былинку, прикусил. — Шиш тебе, товарищ Зотов. Не видать Макарова, как своих ушей. Он теперь отсюда далеко.

Шамарин покосился недоверчиво.

— Ты чего, Антон, плетешь-то? Тебе откуда ведомо, где теперь Макаров?

— Ведомо, Василий. Был он у меня.

Шамарин так и обмер.

— Что-о?!

— Не пугайся. Был. Ночью постучался... Денег выделил немножко, документы выправил ему... Сделал все, что мог. Я ведь как увидел Зотова сегодня, так и ужаснулся. Думал, крышка. Влип!

— С огнем играешь, Антон! — Шамарин осип от волнения. — Думаешь о чем? Трое у тебя. А ну как попадет-ся он с твоими документами? Что тогда? Тюрьма. Соображаешь, нет? — не сводя с Антона ошалелых с перепугу глаз, рывком вскочил. — Из-за кого рискуешь-то? Зачем? Ведь он же — враг, Антон!

— Какой он враг? — устало возразил председатель сельсовета.

— Его судил советский суд!

Семочкин встал, отряхнулся.

— Он такой же враг народа, как ты японский резидент. Какой он враг, когда он смолоду в Сибири? Ведь он с твоим отцом в одной упряжке упирался. Кому-то он дорогу перешел, вот и все дела.

— С огнем играешь, Антон! — повторил Шамарин. — Вспомни тридцатые годы. Каких тузов воротили, кто бы мог поверить, что враги! Не играй — сгоришь!

— И еще скажу, Василий... Ленька Сумский жив.

— Как — жив?..

— Сидит. Макаров с ним встречался на этапе...

— Но как же — похоронка? — Шамарин тупо улыбнулся.

— Похоронка что? Ошибка. Сумский ранен был. Потому и в плен попал. Прошел концлагеря. Союзники спасли, а наши... упекли. Что-то не сошлось, наверное, в показаниях. Теперь вот и сидит... Но долго не протянет. От силы — до зимы. Сильно доходной. И вести дать не может...

— Ну и денек, с ума сойти! Ты это, Агриппине объявил?

— Нет, — сказал Антон. — Боюсь. Женщина есть женщина. Проговорится, слухи поползут. Кому-то станет лю-

бопытно, кто их породил. Распустится клубок... Надо подождать. Потом уж как-нибудь про Леонида намекнуть...

Все с той же тупо-мученической улыбкой Шамарин произнес:

— Ты сам-то веришь в то, что говоришь? По-твоему, и он не виноватый?

Семочкин не понял.

— Кто?

— Да Ленька Сумский, кто! Что же получается? Макаров сел — не виноват. Оклеветали, видишь ли, его. Другой войну у немцев переждал — опять не виноват. А если б немец нас к рукам прибрал? Кто был бы виноват? Что-то тут не вяжется. Просто так и прыщик не садится. По времени и суд. Не суйся в эту кашу — вот мой тебе совет. И еще, — сказал он глухо. — Если хочешь добра Агриппине, заруби на носу: о Сумском тебе ничего не известно. Ни-че-го! Он — погиб. Пал смертью храбрых. Пусть его жена и сын живут спокойно. Без клейма. Ты ведь знаешь, что это такое. Забудь, Антон, о Сумском. Тем более что Ленька не жилец. Забудь. Так лучше будет. Не видел ты Макарова и ничего не знаешь. И мне ничего не говорил!

— Бог тебе судья, Василий... Только думается мне, не о Ленькином ребенке у тебя душа затрепетала.

— Думай как знаешь. Я свое слово сказал! — Шамарин вывел коня на пригорок и, взмахнув вожжой, на бегу вскочил в ходок.

...Поздно вечером, нетрезвый, он ворвался к Агриппине. Упал перед ней на колени.

— Не гони ты меня, ради Бога! Кроме тебя, у меня никого не осталось! Мальца усыновлю, на руках носить вас буду! Не гони, Агриппина!

12

В субботу последним автобусом старик воротился домой.

— Баню подтоплю! — засуетилась Агриппина.

— Не надо, мать, не хлопочи. Устал я, не до бани... — Старик достал папиросы, присел на порожек. С тоскою

поглядел на запертую дверь комнатухи. Войти туда он не решался — страшила пустота...

Покурив, пропелся в горницу.

«Гроб стоял, по-видимому, здесь... Вот тут толпились люди... Пошто не сон все это, Господи? Все отдал бы до ниточки, все еще не прожитые дни — к чему они теперь? — чтоб наступило пробужденье. Чтоб явился Колька, ляпнул, как бывало, прямо от порога: Здравствуй, бабсик! Физкульт-приветик, дед!»

Утром встал ранехонько, до гимна из репродуктора. Босиком прошлепал к умывальнику, сполоснул лицо, пальцами разгладил припухлые подглазья. Снял с полки бритву, помазок.

Поднялась и Агриппина, вздохнула озабоченно:

— Жданку в стадо выпущу!

Шамарин на мгновенье сдвинул брови к переносице.

— А кто пасет-то нынче, мать?

— Кузька Кролик, кто ж еще возьмется! — с гримасой недовольства на лице сказала Агриппина. — В сельпе попал под сокращение, вот и упросили. А он, срамник, на Первый Спас набрался до бесчувствия да под березкой и заснул, а стадо в зелена ушло.

— Кузьма напастушит-ит! — с усмешкой произнес старик. — Это им не дед Шамарин!

Побрился перед зеркалом, оделся.

Со двора вернулась Агриппина.

— Далеко ли, отец?

— Пройдусь немножко, подышу.

— Долго не гуляй. Напеку блинов, ходим на могилки, внука нашего проведаем.

Старик кивнул уныло, пошел на огород. В рыжих сапогах с высокими голяшками, в темной телогрейке, в шапке набекрень, шел сутулясь, со спины похожий на весеннего грача. Скривился как от боли. Запущенность царпнула по сердцу: картошка не окучена, ботва полеглая, пожухлая, вполроста лебеда и красный корень...

Зашел в теплый хлев. В темном углу хрюкнул откормленный боров, к отпотевшим стенкам в испуге шарахнулись овцы, горячо дыхнула в лицо Жданка. Красногрудый петух с изуродованным собаками гребнем, внуком

за воинственность прозванный Душманом, слетел с унавоженной жердочки, растопырил крылья.

Шамарин постоял в раздумье у дверей и вышел за ограду. Вспомнил о строительстве. За три месяца ни разу не спросил у Агриппины, как идут дела на стройке. Не спросил и не подумал. До того ли было!

Вспомнив, он направился на стройку, но стал на полдороге. Про мох совсем забыл!

— Надо бы, пожалуй, привезти, — подумал вслух старик. — Зайти ли, что ли, в конюховку, спросить на завтра бричку?

Но и до конного двора Шамарин не дошел. Ноги сами привели его на кладбище. Могилу внука он увидел сразу от кладбищенских ворот. Выделил по ярко-красной жестяной звезде на серебристом обелиске. На высоком, на фамильном месте, под тремя старухами березами, схоронили внука.

Старик окинул теплым взором увядшие букеты полевых цветов, поблеклые бумажные венки.

— Здравствуй, внучек мой родной! Одинок тебе одному? — Он опустился на колени перед холмиком, обложенным кирпичиками дерна. Шапка выпала из рук, покатилась в ноги...

С фотоснимка над квадратной металлической табличкой с гравировкой дат рождения и смерти белозубо и приветливо улыбался внук. По серым, запавшим щекам старика, застревая в ямочках у крыльцев заострившегося носа, покатались слезы.

— Недолго тебе одному тут лежать. Я не задержусь на этом свете. Пусто, внучек, в жизни без тебя, зацепиться не за что... Исписалась моя биография, последнюю точку поставил ты в ней...

С издевательски пронзительным граем кружило в небе воронье.

* * *

Два дня старик безвылазно сидел за письменным столом в комнатухе внука. Агриппину до себя не допус-

кал. Писал и перечитывал, обдумывал прожитое, глядел в окно, курил. Курил нещадно, беспрестанно...

Всю жизнь свою занес в тетрадь. Как поженились с Агриппиной, как через год родили Клавдию, миром выстроили дом. Как, отсидев, вернулся Семочкин и он ушел по личной просьбе сперва на конный двор, а затем и в пастухи.

Строители закончили отделку двух домов и в ожидании расчета слонялись по селу. Шамарин краем уха слышал, что дирекция совхоза прицепилась к недоделкам, урезала оплату по наряду и будто покушалась на аккорд. И потому старик не удивился, когда Казбек пришел слегка на взводе и бросил ядовито от порога:

— Что, хозяин, уговор дороже денег или будем, как в конторе, торговаться?

Шамарин глянул на вошедшего мельком, не проронив ни слова, ни полслова, прошаркал к шифоньеру. Достал оттуда пачку денег, обернутых заранее газетой, бесстрастно, точно папиросы, вручил их бригадиру.

— Держи, Казбек. Считай.

В глазах у бригадира потеплело.

— Ты, батяня, не тужи. Не получилось этим летом, построим через год. Фундамент есть, и стены будут.

— Ступай, Казбек — глаза в разбег! — махнул рукой Шамарин. — Ступай, не мельтеши.

Казбек, поклявшись расшибиться, но дом Шамарину поставить, откланялся, ушел.

Агриппина отложила в сторону вязание.

— Облапошили халтурщики тебя. За фундамент денежки содрали, а за стены не возьмутся, не мечтай.

— Не суй свой нос куда не просят, не твоего умишка дело!

— Молчу, молчу, молчу! — Обувшись в сапоги, в которых начала копать картошку, Агриппина вышла в сенцы.

Старик оперся о столешницу локтями, пальцами сдавил взопревшие виски.

Кто бы знал, что на душе творилось!

Стояли последние дни скоротечного бабьего лета — бабьего праздника, бабьей работы. Люди срубали капусту

ту, копали картошку, стар и млад с темна и до темна толклись на огороде, лишь у старика впервые в жизни картошка к Воздвиженью оставалась под землей. Вяло думалось о сене, о дровах...

Время шло, а он никак не мог скатиться в колею привычной жизни, собраться с мыслями, решить, с чего начать, не видел ни просвета, ни зацепки. И сейчас, оставшись в одиночестве, вдруг испугался от мысли, что, сколько ни тяни — не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра — придется все же начинать с чего-то новую, бессмысленную жизнь...

Вечером Шамарин получил письмо. Глянул на конверт, и сердце оборвалось: адрес был надписан Глашиной — не Ленькиной — рукой...

Беда одна не ходит: сына осудили. Получил три года общего режима с конфискацией имущества.

Агриппина залилась слезами.

— Пропади все пропадом, отец! Полыхай все ярким пламенем! Бросаю все и еду к Глаше. Каково одной ей без работы с двойней на руках?

— Уезжай! Ты давно туда рвешься! — в припадке иступления закричал старик. — Мотай на все четыре стороны! Леньке ты теперь нужна. Это я вот, простофиля, никому не нужен. Воспитал щенка!

— О чем ты, дуралей? Что ты все-то о себе? Подумайка о внучках!

— Так мне, старому хрычу! Что заработал, то и получил! Уезжай! Уматывай! Хоть к сестрице, хоть к невестке! Хоть еще куда-нибудь! Так мне, по заслугам! За то, что взял тебя обманом! При живом-то муже!

Агриппина побелела, улыбнулась.

— Ты что сказал, отец? Что ты сказанул-то?

— Не гляди так на меня! — захрипел старик. — Живой твой Сумский был, когда я в твоих ногах валялся! Обманом взял тебя! Всю-то жизнь на сердце ношу камень... Хватит. Настродался. Больше не могу!

Агриппина вперила глаза, сцепила пальцы рук, поджав их к подбородку.

— Ты врешь ведь?.. Вре-ешь? Ведь он погиб... Вот и похоронка сохранилась...

— Живой он был. Живой!

— Если б Ленька живой был, разве он не дал бы знать?

— Оттуда не от каждого весточки доходят! — выкрикнул старик. — Он умер той же осенью... В лагере скончался. Где-то в Заполярье... В пятьдесят шестом году, после послабления, сделал я запрос! — Он всхлипнул неожиданно. — Так мне, подлецу! За все мои заслуги. За все мои недобрые дела. И за Антона тоже. Я его упек. Семь бед — один ответ!

— Скажи, что вре-ешь! Скажи, мучи-и-итель!

— Я! Я! Я! — Шамарин выскочил из дому, пересек вслепую двор. Шатаясь, точно пьяный, подался к Кузьке Кролику.

— Дай, Кузька, самогонки. Налей — не пожалей!

* * *

Эту ночь он провел в конюховке. Бродил по конному двору, в проходах между стойл. Неожиданно для себя наткнулся на Серуху. Старая кобыла скосила мертвым глазом, ткнулась дряблыми губами в дерево кормушки.

— Серу-уха! Милая подружка! А я-то, старый дуралей, давно тебя похоронил. Считал, что извели на колбасу, — старик заплакал пьяными слезами, повис на шее у кобылы. — Отстрадавали мы с тобой, отпастушили! Исписалась трудовая от корки и до корки! Кто тебя, пенсионерку, станет содержать? Никому ты не нужна. Потому что экономия кругом... Экономия—наука. Ей на жалость надристать, скромно выражаясь. Каждому свое. Такая наша участь!

Лишь под утро находился, успокоился. Лег на верстак в мастерской, подложив под голову седло. Ушел в воспоминания...

13

С Агриппиной расписались осенью. Теща — старая Иваниха — заколола поросенка, зарубила гусака. Нажа-

рила, напарила, как на добрый пир. Достала и домашнюю наливку. Рябиновку старуха обожала...

Пригласила Казыдая с Казыдаихой, Калижникова, Шаговых...

Все бы в этот вечер было хорошо, да теща малость подкачала — прослезилась старая нектати. Она сидела за столом строгая, прямая, к закускам не касалась, лишь подливала в рюмку понемногу. Лицо ее скраснело, покрылось капельками пота — домашняя рябиновка все же разбирала. Ни с того ни с сего вдруг пропела-простонала, прервав разноголосицу:

*Дороженька, дороженька,
Дороженька дугой.
По тебе, моя дороженька,
Уехал дорогой... —*

пропела и сказала:

— Спать пойду, пристала бабка!

Антон в тот вечер так и не пришел...

Он и в последующие дни правдами-неправдами избегал случайных встреч и разговоров. И это не осталось незамеченным.

— Слышно, вы с Антоном поругались? — спрашивала дома Агриппина.

Недоумевал Калижников Михей:

— Чего не поделили? Не вам бы дуться друг на друга!

— Черная кошка промеж пробежала, — хмыкнул Шамарин.

И тогда закрался в сердце страх...

Простит ли Семочкин Антон когда-нибудь предательство?

Предательства на фронте не прощали, но чем иным, как не предательством, назвать его, Шамарина, поступок по отношению к давнишнему сопернику, такому же, как сам, фронтовику, теперешнему узнику, лишенному — пусть даже и судом — всего и навсегда?

Теперь вот и семьи. Ребенка и жены...

Простит ли?

Никогда.

И жить ему, Шамарину, отныне в вечном страхе...

* * *

В тот памятный декабрьский день 1948 года Шамарин с раннего утра сидел в правлении колхоза. Он любил по воскресеньям поработать в одиночку. В безлюдном кабинете тикали настенные часы, было тихо и покойно. И тут в обледенелое окно увидел Агриппину. С коромыслом на плече шла заснеженной тропой к ближайшему колодцу. Навстречу — Семочкин Антон. Остановились, поздоровались...

От страшного предчувствия сердце у Шамарина зашлось. «А ну проговорится? Сделает во зло? Расскажет о Сумском? Разве он простит?»

Шамарин подскочил к окну, рывком раздернул шторку, налег на подоконник.

Стояли. Говорили!

«Господи, о чем?»

Он нервно рассмеялся. «Вот так всю жизнь... Живи, как вор, и бойся. Бойся возвращения Макарова... Бойся возвращения Сумского... Антона тоже бойся. Бойся день и ночь! Иль я не заслужил пожить по-человечески? Спокойно, как все люди!» — Шамарин матюгнулся, сел, но тут же соскочил со стула, загреб рукой бумаги со стола, бросил кипу в шкаф. Сорвал с гвоздя «москвичку», шапку...

— О чем тебя Антон пытал? — вопросом огорошил Агриппину.

— Да так. Спросил, как жизнь... То, се.

— А ты?

— Что — я?

— Что ты ему сказала?

— Сказала: жизнь как жизнь...

— И — все?

— И все. А что еще? С чего сбледнел-то вдруг?

— Да нет, тебе почудилось. — Шамарин сел на табуретку. — Не бойся, Агриппина. Все будет хорошо...

Ночью так и не заснул. Ходил по горнице и думал. Подошел на цыпочках к кровати, взгляделся в Ленькино лицо: вылитый отец!

Внезапно всхлипывала Клава, и он подскакивал к дочурке, опережая Агриппину.

— Все будет хорошо!

И снова размышлял...

«Теперь живи и бойся... Если завтра где-нибудь загремит Макаров с подложными документами, то и Антона загребут. Тогда не миновать беды. С Антоном и тебя возьмут... Какой дурак поверит, что лучший друг Антона ничего не знал? Зотов не простак. Зотов не поверит... Но если знал и не донес? Известно, что тогда — тюрьма. Как быть?... Живи теперь и бойся. Зотова... Антона. Вдруг да выложит всю правду Агриппине? И Агриппина не простит! И неизвестно, кто страшней, кто для тебя опасней — Зотов или Семочкин? Надо выбирать... Что-то нужно делать. Выкручиваться надо!»

На рассвете Шамарин выдрал листок из тетради, обмакнул в чернильницу перо...

«Прости меня, грешного, Господи!»

Нацарапал на бумаге первые слова:

*«Уполномоченному Каменского НКВД
от Шамарина Василия Егоровича.*

Заявление

*17 июля 1948 года по дороге из райцентра в Осихино
председатель сельсовета Семочкин Антон мне сообщил...»*

Утром мрачно подозвал Кузьму, вручил конверт с тремя сургучными печатями.

— Гони в райцентр. Отдашь депешу лично в руки!

* * *

Старик терзал себя за опрометчивость. Боялся, что внезапное, страшное признание доконает Агриппину. Что случится с нею то же, что с ним тогда, при виде цинкового гроба. Боялся слез, стенаний и проклятий.

Но ничего такого не случилось. Когда утром он, невыспавшийся, хмурый, пришел домой, не раздеваясь, сел за стол, уставился в окно, Агриппина молча подала вчерашних щей, кружку молока и села, как обычно, за вязание. Но рукоделием занималась до обеда, затем вдруг спешно собралась, пошла на остановку. Шамарин догадался — поехала к сестре.

Из Каменки вернулась поздно вечером.

— Жданку Пелагея заберет, — сказала перед сном.

Шамарин встрепенулся, соскочил с дивана.

— Как это — заберет?

— Увезет к себе в Каменку.

— Ты что, корову продала? — обомлел старик.

— Не продала, а отдала. Пускай пока побудет у сестре... Вернусь, дак заберу. А не вернусь, дак... ладно. Тебе корова не нужна. Овечек тоже надо бы продать...

Шамарин взглядом полоснул по Агриппине.

— Хозяйство по ветру решила пустить? А меня спросила? Или я уж не хозяин в своем до...

— Постой, отец, не заводись. Выслушай меня. Пока мись Ленька срок не отсидит, я от Глаши не уеду. Да и не скажу сейчас, вернусь ли... Тебе корова в тягость будет.

— Чего ж тогда курей не раздаешь? Курей раздай! И уток! И боровка в придачу!

— Птицу тоже поруби. Больно с нею хлопотно, тебе не совладать. Оставь с десятков кур да поросенка. Хватит за глаза.

Старик оторопело пожевал губами.

— Значит, все-таки решилась? Окончательно?

— Надумала. Поеду. — Агриппина выключила свет.

Шамарин покурил и разобрал постель.

— Ладно. Отговаривать не стану... Там, в шифоньере, деньги, что откладывал на дом... Возьми. Глафире пригодятся. Фундамент я продам. Семочкину Ваньке. Он давно косится на него...

Агриппина собралась через неделю. По обычаю, присели на порог.

— Вот ведь как пришлось! — сказала с дрожью в голосе. — Жили-были и — расстались. Будто так и на-

до. — Не сдержалась — всхлипнула. Достала из кармана носовой платок. — Для чего, отец, покаялся? Кому от того стало легче? Носил ты камень на сердце, ну и носил бы до конца. Такую тяжесть на меня переложил...

Шамарин неприкаянно топтался у порога.

* * *

С отъездом Агриппины дни и ночи потянулись в одинаковой унылости. В середине ноября ударили морозы. На улицу старик почти не выходил. Подолгу сидел за столом, глядел в обледенелое окно. Жизнь, как ни странно, продолжалась: в одно и то же время подвозили хлеб, с завидным постоянством у сельповского крыльца в кружок сходились бабы, нет-нет да и катился по своим делам безногий пимокат. Старик все чаще доставал из подпола наливку, помаленьку подливал себе в стакан. Как прежде, донимал вопрос о смысле бременной жизни...

В среду он проснулся с редким ощущением особенности дня. Полежал недвижно на диване, уставясь в потолок, скосил глаза на численник. Вспомнил — день рождения. Шестьдесят пять лет. Круглое число!

Он резво сполз с дивана, провел рукой по подбородку, погляделся в зеркало.

— Опустился, именинник. Оброс да пострашнел!

Через несколько минут затопил баню. Впервые после отъезда жены вымыл в доме пол. Побрился и побрызгался духами. Прокрутил на мясорубке мясо, приготовил тесто для пельменей. Достал из погреба наливку, в прекрасном настроении сходил в сельпо за водкой. По дороге повстречал соседа.

— Чем, Ванька, занят вечером?

Иван был не в духе, куда-то торопился.

— До вечера, Шамара, вряд ли доживешь. С такой-то нервотрепкой!

— Опять, поди, с Семеном Казыдаем покусался?

— Покусался! Доведет, собака, что уволюсь!

— Ты это, Ванька, доживи до вечера, — попросил Шармарин. — Доживи, да приходи ко мне на пельмени.

— По какому случаю?

— Дата у меня, скромно выражаясь. Круглое число.

— Тогда коне-ечно! Жди.

До вечера старик успел помыться в бане, всласть нахлестаться веником. Дома отдышался, хватил стакан рябиновки, вздремнул. Достал из шифоньера праздничный костюм, любимую рубашу. Торжественно и чинно вышел за калитку, открыл почтовый ящик. Пусто было в нем...

Шел час за часом. Смеркалось. Стыли на столе пельмени. Сосед так и не пришел... Старик оделся, взял бутылку со стола, подпер полешком сеничную дверь, направился к Кузьме.

— Дома твой? — спросил у Мотри.

— Только что сбежал.

— Куда?

— К Семочкину в гости. Ванька сообщил, что Антон приехал.

— Анто-он? Когда? — старик опешил.

— А токо что. Автобусом. Ступай туда, Шамара. Кузька там и Казыдай... Всех кучкой и застанешь.

— Ага, — кивнул старик. — Пойду...

Но он пришел домой, разделся, сел за стол. Бросило в озноб. Дрожащими руками сорвал жестянку с горлышка бутылки. Влил в стакан и выпил. Но водка не согрела.

Старик прошелся взад-вперед по горнице и затопил плиту. Достал из ящика стола заветную тетрадь, разом выдрал несколько исписанных листков, скомкал, бросил к печке.

— Вот и все, — сказал он твердо. — Ничего-то не было. Не было и нет...

Сел, обхватил руками голову, скрежетнул зубами.

— Пусто! Пустота! Умереть бы, Господи! Взять бы да и умереть!

Старик готов был к смерти. Поверил, что умрет. Надо лишь закрыть глаза. Вот только печь... Она топилась, и тепло через трубу улетало в воздух.

Старик плеснул в стакан еще, выпил без закуски. Встал, его качнуло. На негнувшихся ногах прошел к печи, задвинул вьюшку. Лег на кровать. Вдохнул глубоко, полной грудью. Но душно сделалось ему, подкралась к сердцу боль...

Сбросив на пол подушку, сполз на половики.

«А ведь нехорошо! Умру-то не по-людски. Надо бы подняться... Но почему так занемело сердце? В глазах туман... Нет, надо встать! Вот только б отдохнуть... Только б отдышаться!»

Последнее, что видел уже не наяву: влажная поскотина, медлительное стадо, покорная Серуха...

Последнее, что слышал, — зовущий голос внука.

Во сне старик блаженно улыбнулся.

1984, 1988 гг.




ЗВЕНЕЛА ПТИЦА В ПОДНЕБЕСЬЕ



*Я мог бы плакать и рыдать,
И до упаду хохотать,
Да только почему-то стыдно.*

Василий Казанцев

1

 пля, разбежался! — Санька Сычихин в недоумении встал на крыльце: на двери железной дулей висел замок. Ключа в условленном месте — под ведром на лавке — не оказалось. С досады Санька кулаком двинул по ведру, оно загромыхало по земле.

«Не лает, не кусает, а в дом не пускает, — вспомнилась загадка из детства. — Опять Клавдия ключ унесла».

Утром жена велела не ждать на обед. Жаловалась, работы невпроворот, с отчетом зашилась. Она в последнее время наладилась в бухгалтерии чаевничать, время на обедах экономила.

— Ну, Клавдия, ну, экономка! Она, видишь ли, время экономит, а ты, значит, как хочешь, тебе время не отмерено... «Не лает, не кусает...» Вот еще прилипло! — Санька в сердцах тихонько ругнулся и пошел со двора. К Клавдии в совхозную контору.

Жена и прежде, случалось, ключ с собой уносила, в том бы никакой беды — три минуты ходу до конторы. Но сегодня Клавдина забывчивость взвинтила. Он и так с обедом припозднился — со склада на ферму транспортер доставлял. За два дня до отпуска поручили в новом коровнике транспортер запустить. Навозо-

уборочный. Приходилось крутиться, не хотелось отпустить лишаться...

В прокуренном конторском коридоре было тихо и пустынно. Из дверной щели парторговской кельи на коричневый линолеум пола выпадала белая полоска электрического света, отвесно по стене взбегала к потолку. В хрустальной пепельнице на подоконнике сизой ниткой дымился окурок. Из-за двери с табличкой «...УХГАЛТЕРИЯ» навстречу вдруг ударило:

*Но снится нам
не грохот космодрома-а,
не бабкин плач, летящий в синеву...*

Санька аж присвистнул:

— Ни хрена себе, работнички!

Из-за стола, заваленного ворохом бумаг, выскочила Шубина Валюха — Клавдина подружка.

— Ой, да кто же к нам пожа-а-аловал? Вы только гляньте, девочки! Сычихин собственной персоной! Сядь, родненький, порадуй нас своим присутствием. Схохми чего повеселей, а то засохли мы в темнице. — Валюха, дурачась, под локоть Саньку подхватила, в глаза лукаво заглянула. — Чаю, миленький, не хочешь?

«Девочки» — зам. главного бухгалтера Горислава Петровна и юная мамаша Феня Боголюбова — переглянулись, рассмеялись.

— Сядь, родня, не суетись. — Санька высвободил руку, дав понять, что хохмить сегодня не настроен.

На подоконнике гремел магнитофон Фени Боголюбовой.

*...а снится нам,
что козлик ест у дома-а
зеленую, зеленую траву!..*

— Да выключи бандуру! — Санька не сдержался. — Ты же на работе — не в ДК на танцах! Упарилась, бедняжка.

Феня оскорбилась.

— У нас, между прочим, обеденный перерыв. Эмоциональная разрядка.

— Дома разряжайся, — резко бросил Санька. И — Валюхе: — Где моя? — Клавдино место пустовало.

— Скоро явится твоя! — фыркнула Валюха. — За конфетами к чаю пошла.

— Сладенько живете.

— Может, чаю, Санечка, налить? Только что вскипел. Пирожки с черемушкой! Сама вчера пекла.

— Чаем сыт не будешь.

— Да что с тобой сегодня, милый? — вскинулась Валюха. — Да ты пошто такой сердитый?

Знаю, милый, знаю, что с тобой... — громозвучно выдал Фенин магнитофон.

Бухгалтерия покатила со смеху. Непроизвольно усмехнувшись, Санька сел на Клавдин стул.

Просмеявшись, женщины вспомнили про чай. Схватились за стаканы и баночки с вареньем. Саньку упустили из внимания. Он скучающе зевнул и... рот раскрыл от изумления.

Верхний ящичек стола был немного выдвинут, и в нем что только не лежало! Разнофигурные флакончики с духами, без духов, туши для ресниц, коробки с пудрами и кремами, карандаши губных помад...

Полный набор дамской косметики и парфюмерии!

Санька пятерней ворохнул это богатство. «Ай да Клавдия! Где нахватала? Не в своем же сельмаге. Для кого? Для себя? — даже в голову ударило. — Нет, не может быть. Не видел, чтобы малевалась... Скорей всего, для Галки, доченьки любимой. Тогда зачем в конторе держит, а не дома? Денег-то ухлопала!»

А под стеклом...

Из-под стекла на Клавдином столе виднелись: дюжина цветных календарей с эмблемами Госстраха наверху, открытка с мордочкой кота с голубеньким бантом на пышной шейке и с умными зелеными глазами, машинописные листки — сонник и японский гороскоп, рецепт какой-то хитрой мешанины от простуды из алоэ, перца, водки, лотерейные билеты ДОСААФ, журнальная вырезка бородатого Боярского с синеоким сынишкой на коленях, давнишняя дочуркина карточка...

А это что еще за парочка?

Санька сдвинул Клавдины бумаги на краешек стола, склонился над стеклом. Жаром обдало лицо...

С цветной фотокарточки с пометкой в уголке «Орджоникидзе-86» на него глядели двое: разлюбезная Клавдия в белом летнем платье с вырезом на груди и пожилой пузан в светлой тенниске, в очках. Склонив лысеющую голову к Клавдиному плечу, одной рукой ее облапив, пузан в очках довольно улыбался, блестя золотыми коронками, а Клавдия — пальчики к щеке, будто нестерпимо болит зуб, но ей все-таки смешно, чуть отстранясь, — как бы говорила виноватыми глазами: видишь, мол, какой дурашливый, что ты с ним поделаешь?

Жар с лица сошел, но спина вспотела...

— ...Сычихин! Слышишь или нет? Иди встречай свою любимую... Обед уже кончается, а ее все нет, — смеялась Шубина Валюха. — Ты, кстати, зачем заходил? Может, что-то передать, если вдруг разминетесь?

Санька глянул на часы. И впрямь, пора на ферму.

— Передай спасибо за обед. От пуза накормила...

С Клавдией столкнулись на крыльце. Бежала — запыхалась, разругалась. Дух перевела.

— В конторе ждал? — спросила.

— Ну а где ж еще.

— Вот кулема, вот кулема! Пришла в сельпо, сунулась в карман за кошельком, а ключик — вот он — в кармане. Конфет купила и — домой, думала, тебя опережу. Чай согрела, пождала... Так и не обедал? Валюха чаем не поила?

— Ну а Валюха-то при чем? — вспыхнул внезапно Санька. — У меня жена имеется пока. Законная. Понятно? — И шагнул с крыльца.

В потной ладони сжимая ключ от квартиры, Клавдия взглядом проводила мужа до проулка.

«Вот кулема-то, — читалось на ее лице, — накормила мужика обедом».

2

Книжного магазина в Шадринке не имелось и покуда не предвиделось. А в библиотеку, что на втором этаже Дома культуры, Санька лет двадцать уже не заглядывал.

Точнее, восемнадцать, с тех пор, как, отслужив, женился. По первости к чтению очень даже был равнодушен, ночи напролет над книжками просиживал, особенно если про войну или о чекистах попадались. Книги у главного механика Степана Васильева брал. Тот заочно в сельхозинституте учился, чемоданами, бывало, привозил. Но Галка родилась, не до чтения стало. Правда, журналы просматривал. «Крестьянку», «Человек и закон». С нового года — «Трезвость и культуру». В газеты заглядывал. Иной раз перед сном и книжку случалось в руках подержать, но больше десятка страниц не осиливал — слипались глаза.

Как-то раз по дороге с работы надумал в библиотеку зайти, но у входа в ДК споткнулся. Он с фермы всегда в обновленных литухах возвращается, а там, на втором этаже, вспомнилось, дорогие дорожки настелены. Подумаешь, прежде чем протопать. На первом этаже было проще. Вокруг бильярда с киями в руках ходили трое мужиков, гоняли в американку. Санька кстати оказался, стали двое на двое играть. Зав. ДК Костя Джаз с аккордеоном на коленях сидел в углу на стуле, с закрытыми глазами подбирал забытую мелодию.

Конечно, можно было сходить домой, переодеться, умыться, привести себя в божеский вид и посетить очаг культуры. Да вот желание пропадало. Приходил домой, наваливались дела и — все, какая там библиотека!

И еще одно имелось «но»... Библиотекарша в Шадринке была уж больно интересная. По фамилии Кузлюкина. Елена-свет Трофимовна. Лет тридцати пяти, дородная, в очках... И — разведенка, главное! Как только Леха от нее сбежал, последних мужиков-читателей жены от книг отповоадили. Потому что Кузлюкина кому-то когда-то якобы сказала, что лишь теперь, после развода (развода, впрочем, Леха не давал), крылья распустила. Догадайся, что за этим кроется. С тех пор Кузлюкина повадилась на ферму вербовать читателей.

К концу дня парторг зашел на водокачку, обошел коровники и всех свободных от работы направил в

Красный уголок. Саньку за делом застал, но тоже попросил на мероприятие. И Санька не уперся, не увильнул по дороге — настроение было не то, да и с начальством лишний раз решил не цапаться, тем паче перед отпуском. Прошел в Красный уголок, занял место с краю у прохода. Кто скажет, что Сычихин всех умней?

На столе вдоль стенда «Наши маяки» в рядах лежали книги, свежие журналы. Нарядная Кузлюкина закатила лекцию. Об одном известном в области писателе, который ярко пишет современный мир и человека в этом бурном мире. Библиотекарша распарилась, и так складно стало получаться, будто только что в библиотеке на пару с тем писателем она чай гоняла, он обо всем и рассказал. Санька лекцию вполуха слушал — не шла из головы злополучная карточка. Не давала покоя, и все тут. Одно из двух, думал он: либо Клавдия сама забыла про нее, не придавала значения, либо прятала намеренно, и, значит, дело тут нечисто...

* * *

В Орджоникидзе, на курсы повышения квалификации главных бухгалтеров, Клавдия в прошлом году долго не решалась поехать, кивала на огород. Стоял на исходе май, солнышко расщедрилось, земля прогрелась, и со дня на день собирались садить картошку. «Мамочка, родная, поезжай! — уговаривала Галка. — Я бы обязательно поехала!» Клавдия в панике хваталась за голову. «Не знаю, что и делать, ума не приложу. С каким сердцем ехать? Огурцы высаживать пора, помидорам в банках тесно... Не придумаю, как быть!» Вопросительно глядела на него, и лицо пылало. Санька понимал Клавдино смятение, глупо, непростительно жестоко было бы запретить поездку. Все-таки в Орджоникидзе, не в район с бухгалтерским отчетом. Есть что поглядеть. Она ведь из Сибири никуда не выезжала, дальше областного центра, у матери

с отцом, и не бывала. «Мамочка, родная, поезжай, не медли! — вытанцовывала Галка. — Тетя Горя Васильева спрашивала, что ты надумала. Если не поедешь, то она с великим удовольствием» — «Огород-то на кого?»

«Дался тебе огород! — сорвалось у Саньки. Неужто мы с Галинкой не управимся вдвоем? Управимся, дочура?» — «Об чем, пап, разговор!»

Клавдия твердила: «Не знаю, что и делать, но уже в дорогу собиралась — ехать предстояло утром. Укладывала вещи в чемодан, давала указания, как часто поливать, где сеять лук-севок, где свеклу, где морковь...

Уже через неделю повалили письма. Писала Клавдия помногу, сыпала вопросами: ровно ли взошло, обильно ли поливают, каковы успехи (дочь сдавала за восьмой), беспокоилась за них — как же без нее-то? О себе писала скупо: занятия, зачеты, дожди и скукота, скорей бы все кончалось, и — домой, домой...

Вернулась оживленной, загорелой. С ходу принялась одаривать дочку обновками, тут же заставляла все примеривать. Галка, визжа от восторга, благодарно нацеловывала мать. Клавдия радовалась, что угодила, что наряды дочери пришлись по вкусу, по размеру — как по ней и сшито. Ему тоже привезла модную бордовую рубашу, он только раз ее надел: рубаша оказалась «электрической» — через голову снимал — волосы трещали. За чаем рассказала, как однажды «с девками слиняли с первой пары» (не ее словечки-то, отметил тогда Санька), углубились в горы, и там она едва не сорвалась в страшнейшую пропасть, и вообще, сказала, было здорово и жутко. Показала фотографии, где она то «с группой», то «с девчонками из комнаты», то с главной из «Заветов Ильича»... На одной запечатлелась в бурке и папахе на фоне дальних гор, эта фотография Саньку умилила. Клавдия спохватывалась, бежала посмотреть, как растет картошка, сокрушалась, что густо посеяли морковь, вместо редиски — редьку, тут же забывала обо всем, снова цвела и сияла. Санька молча наблюдал за Клавдией и вдруг поймал себя на мысли, что ему неловко... Неловко

видеть Клавдию взбалмошной, взвинченной, беспечной. Но понимал — настанет утро, и радость встречи приугаснет. Так оно и вышло. Клавдия спрятала белое с вырезом платье, облачилась в повседневное. Приувяла, как цветок.

3

Кузлюкина закончила лекцию, напилась из графина. С первого ряда поднялся парторг.

— Будут вопросы к докладчику?

По рядам прокатился шумок, кто-то поднялся уйти.

— Прошу минутку паузы! — с места крикнул Леха, бывший муж библиотечарши. — Имеется вопросик.

Парторг, предчувствуя каверзу, глянул на Кузлюкину. Та разрешительно кивнула, сдернула очки.

В предвкушении спектакля мужики ослабли. Кузлюкин — истинный артист. Коренной горожанин, работал таксистом, активно участвовал в художественной самодеятельности. Проживал в бараке на отшибе, стоял в очереди на жилье. Очередь волной накатывала и откатывала, так как в силу актерской натуры Леха откалывал номера не только на сцене, но и в жизни. Тогда он плюнул на актерскую карьеру, закрыл глаза на пролетарское происхождение и прибыл в Шадринку решать продовольственную программу до прояснения жилищной проблемы. Тут и свела его судьба-индейка с Еленой Трофимовой.

Леха проглотил надменную улыбку.

— Правда ли, что Сан Сергеич Пушкин матерщинные стихи писал?

— Больше ничего не выдумал, Кузлюкин? — опередил Кузлюкину парторг.

— А что плохого я сказал? — изобразив недоумение, Леха обратился за поддержкой к залу. — Говорят, что Пушкин про Гаврилу сочинил. Не в курсе? Кое-что могу исполнить.

Кузлюкина вновь нацепила очки. Мужики расхохотались. Парторг побагровел.

— Брось ваньку валять, Алексей! Разговор сегодня не о Пушкине, а об этом... как его?

— Жаль, — промолвил Леха.

— Вот она — культура наша! — изрекла библиотекарьша, мстительно взглянув из-под очков на бывшего супруга.

Других вопросов не последовало, и парторг упрекнул:

— Какие мы непробиваемые! Елена Трофимовна для нас тут старалась, старалась, а мы... Нехорошо. Другой раз чтоб поактивней были. А теперь, товарищи, прошу еще минутку! Елена Трофимовна прочтет нам стихи молодой поэтессы по фамилии... как там? — парторг, припоминая, шелкнул пальцами.

— Элеоноры Тумановой! — подсказала Кузлюкина.

Леха на стуле подпрыгнул.

— Сколько можно ее слушать?

— Сколько надо, столь и будем! — парторг повысил голос. — Приступайте, Елена Трофимовна.

Вальяжно шагнув вперед, Кузлюкина скрестила руки на груди, подобралась, преобразилась.

Стихи были ее, об этом все в Шадринке знали. Но то, что все об этом знали, она либо не догадывалась, либо притворялась недогадливой. Вспыхнувшая в ней страсть к стихотворчеству и послужила причиной семейного распада. После того как в районной газете появились длинные стихи за подписью Тумановой, у Лехи лопнуло терпение. Он объявил жене и теще, что брал не поэтессу, а простую бабу, которая могла бы рубашку состирнуть и обед сготовить, а раз она такая гениальная, то пусть строчит во все газеты мира, он себе найдет попроще — пусть без дара, но хозяйку.

Стихи читались в основном про вольных птиц, забавно исполнялись. Кузлюкина встала в позу непоколебимой, выдержала паузу.

*Звенела птица в поднебесье,
Охотник выцелил ее,
И неоконченная песня
Упала камнем на жнивье.
Упала и затрепыхалась,
Померк от боли белый свет...*

Закатила глаза к потолку, левую руку крылом вознесла над головой, правую прижала к взволнованной груди и с шепота перешла на крик:

*...Охотник, словно от удара,
Споткнулся и увидел вдруг:
Убитой песни крыльев пара
Повисла из кровавых рук...*

Новые стихи, должно быть, взволновали. Мужики переглянулись, женщины захлопали, не щадя ладоней. Леха под шумок выскользнул из зала.

После вечера поэзии Санька шел домой. Не терпелось заглянуть в Клавдины глаза. Думал о своем, а в ушах звучало: «Звенела птица в поднебесье...»

«Вот еще пристало!» — удивился он.

4

Через два дня он закончил монтаж транспортера. Шел домой с отпускными в кармане, но трезвый как стеклышко: после указа водку в сельпо продавали стихийно. И не один шел — с главным механиком Степаном Васильевым, человеком уважаемым. Им по пути было. На ходу обсуждали важный вопрос: где лучше поставить новый движок, за которым Степан собирался в область. Сперва решили — в старом коровнике. Там вся механизация поржавела, так пусть хоть мотор заменится. А когда уже с сельмагом поравнялись и закурили напоследок, Санька предложил поставить в новом. Новому оборудованию, сказал он, и мотор соответствовать должен. На том и сошлись.

— Ну, отпускник, отдыхай, — сказал напутственно Васильев. — А надоест, приходи. Работы, как всегда, по горло.

— Работа не волк, — привычно отшутился Санька и шагнул направо.

И тут из сельмага Валюха вылетела. Пулей. Чуть Саньку с ног не сшибла. Завращала очумелыми глазами, слово вымолвить не в силах.

— С тобою что, родня? — остановился Санька. — За тобой кто гонится?

Валюха просияла.

— Са-а-анечка, родной! Тебя мне Бог послал, чесслово! Случайно, ты деньгами не богат? До вечера? Покуль до дому да обратно, тута все порасхватывают. Ты бы видел, что творится! Ой, люди завиду-ущие! Ой, руки загребу-ущие! Все готовы схапать!

Что тебе цыганка остроглазая чужой карман дырывает! И ведь знает, что сегодня он как раз богат. Валюхе не откажешь. В трудную минуту не раз шел на поклон.

— И сколько мы прикажем?

— Да сколь! Рублей хоть двадцать. До вечера, Санек!

— А Клавдия случайно не с тобой?

— Так она ж в район с отчетом укатила, поди, еще и не вернулась... Ну, спасибочки, Сычихин, выручил меня! — Валюха скомкала червонцы, назад в сельмаг метнулась.

Степан Васильев эту сцену со стороны пронаблюдал. Крикнул ей вдогонку:

— Чего дают-то, Валентина?

— Да всяку разну всячину, — отмахнулась та. — Вам, мужикам, сто лет того не будь... Распашонки, мыло импортно, стиральный порошок... Литературу всякую там разную.

— Художественную, что ли?

— Почем я знаю? Всяки книги. Толсты, тонки... Побегу!

Васильев вслед ей хохотнул:

— И почему такую замуж не берут? С такой не пропадешь!

— Чересчур взбалмошная, дьявола спугнет, — усмехнулся Санька.

— Зайдем-ка, глянем, что за книги? — предложил Васильев.

— Да ну, какой я книжник!

— Зайдем! — загорелось Степану. — У тебя дочка до книжек охочая.

Санькина Галка и Степанова Берта в десятый перешли. Обе вплотную приблизились к порогу, за которым начинается опасная пора глубоких вздыханий по воображаемым рыцарям сердца. Рыцари в Шадринке то ли водились, то ли нет, но паскудников хватало, Санька в том не сомневался. Вдобавок к ним монтажники приехали — ЛЭП из города тянули. Один, смазливый, рыженький, месяц против окон ошивался. Санька глядел в оба. Недоглядишь — со стыда сгоришь. Как продавщица Боголюбова за Феньку. Десятый класс не закончила девка. И кто он — рыцарь ее сердца, отец ребенка, до сих пор во мраке. Санька за дочерью хоть и присматривал, но особенно не переживал. Галка действительно до книжек большая охотница. Вечера проводила у Васильевых, всю библиотеку прочитала. У Кузлюкиной в любимицах ходила. И хоть у отца иной раз кошки скребли на душе — все же девке семнадцатый год, ей бы матери помочь — чтению не препятствовал. Все, считал, при деле, не до женихов...

Затащил-таки в сельмаг Степан Васильев Саньку!

Что там происходило! Со всей Шадринки женщины сбежались, лезли через головы к прилавку. Шла отчаянная схватка за импортное мыло, стиральный порошок и распашонки. На Боголюбову со всех сторон шумели — помногу в одни руки отпускала.

Степан, за ним Сычихин бочком, бочком протиснулись к прилавку. На них глядели подозрительно-враждебно. На полках за спиной у Боголюбовой стопками лежали новенькие книги. Продавщица с каждой стопки сняла по экземпляру. Очередь на всякий случай возмущенно загудела, особенно Валюха взволновалась, но, увидев, что мужчины не за тем товаром, сразу успокоилась. Кто-то даже засмеялся.

— Пущай берут, раз к поэтессе не пускают!

— Вот вам весь товар. — Продавщица улыбнулась уважительно Степану и попутно по Саньке улыбкой скользнула. Но бровь невольно вскинула. «Надо же, Сычихин в книголюбьи записался!» — расшифровал улыбку Санька, и в магазине стало скучно, неуютно.

А Васильев, не смущаясь от смешков со стороны, грудью навалился на прилавок, придвинул стопку книг, стал каждую неспешно изучать. Интересно он это проделывал. Бережно откидывал страницы, ладонью сверху вниз по корешкам водил, оглаживал обложки, только что не целовал. Вскоре перед ним две стопки книг образовались. Одна, слева, выше, другая, справа, ниже. Но та, что справа, все росла и скоро переросла левую...

Санька, боком прислонясь к прилавку, стал по сторонам поглядывать. И почувствовал себя круглым идиотом. Толкнул Степана в бок.

— Ты, я вижу, надолго. Пойду.

Степан дыхнул в лицо горячим шепотом:

— Такая, брат, литература! находка, а не книги... В Среднесибирске на толкучке втридорога не купишь. Подкинь-ка, брат, червонец! — С кончика вспотевшего механикова носа на рубашку капнуло.

В это время Саньке на глаза попала книжка. Маленькая, будто записная. Степан ее налево сбросил. Не заинтересовала. А Санька спохватился. Знакомая фамилия на беленькой обложке: А.ГРЯЗНОВ. Чуть ниже: ПЕРВОГОДКИ. Видимо, об армии.

Во рту сухо сделалось, будто добрый прокос без оглядки прошел.

«Неужели тот — гвардии сержант? — подумалось ему. — Нет, не тот, — решил на улице, — мало ли Грязновых?»

5

— Ноги у тебя поотвалились? Не мог встать в очередь? Перетрудился, бедненький, да? — встретила дома

Клавдия. Глаза и нос у жены были красные, припухшие от слез. — Люди он не поленились, так всего и понабрали!

— Да чего всего-то? — удивился Санька. — Порошка да распашонок? Нам распашонки без нужды. Верно, дочка, говорю?

Дочь демонстративно отвернулась.

— Хотя б и порошка, — распаялась Клавдия. — Грязную рубашку в отпуск не наденешь!

— Там, Клава, народу, что муравьев в муравейнике. Стоять не захочешь...

— Будь я дома, я бы постояла, мне ничего не стоит. Тебе ведь ничегошеньки не нужно. Вот где-то острограмился, и ладно. Думаешь, не чую?

Слово за слово, далеко зашло.

Клавдия криком отвела душу, схватила подойник, выскочила в сенцы.

Санька к дочке обратился:

— Мать давно приехала?

— Уже в седьмом часу... Вот где ты, папуля, пропадал?

— Зашел к Кузлюкину, дядь Леше... Шел мимо, он зазвал. Маленько посидели.

— Оно и видно, что маленько.

— Ладно, не указывай. Мать с чего уревана? Из района вернулась такой?

Галка с опаской на дверь покосилась.

— Только что по телику фильм про Будулая показали... Вот и наревелась.

— Я и вижу — не в себе. Думал, за отчеты наругали. — Санька сел напротив дочери, пальцами со лба въехал в шевелюру: голова болела, зря у Лехи выпил. — Ты, чем книжечки почитать, лучше б мамке помогала. Мне ведь импортное мыло ни к чему, я хозяйским хорошо намылюсь.

— Не хозяйским, а хозяйственным.

— Невелика разница. В кого ты выросла ленивицей — ума не приложу. Мать не белоручка, отец не разгильдяй...

— О-ос-споди, заколебали! — Дочь за голову схватилась. — Тебе, пап, как влетит от мамы, так ты за воспи-

тание берешься... Напашусь, какие мои годы! — Галка гордо удалилась в свою комнату.

Санька рот раскрыл остановить — вот ведь взяла в моду: как против шерстки, так скорей бежать, — но что-то удержало...

Странное чувство овладело им: ревность — не ревность, обида — не обида.

С подойником в руке вернулась Клавдия, продолжила старую песню.

— Пап, ты кушать хочешь? — матери в укор из-за двери спросила Галка.

— Уже мамка накормила!

«Молодец дочура, — подумал с благодарностью, — не держит зла. Добра желаю — понимает».

За столом Галка, подперев щеки кулачками, улыбнулась загадочно.

— Интересный ты у нас, когда сердиться. Прямо как воробушка.

Санька поперхнулся.

— Кто-о?

— Я пошутила, пошутила!

— Шуточки какие-то!

«Совсем ведь уже взрослая, — увидел Санька вдруг. — И смотрит-то по-взрослому. Вылитая мать. Отучится, поступит... С Клавдией останемся».

Он прогнал от себя невеселые мысли.

— Вот ты все читаешь и читаешь... А у писателя Грязнова что-нибудь читала? Про армию он пишет.

— Меня армия не волнует.

— Доброе тебя, конечно, не волнует. Вам ведь что ни дурно, то потешно.

Упущенные мыло, порошок не давали Клавдии покоя. Снова завелась.

— Интересные вы стали, — засмеялась Галка. — Скука вас заела или дело к старости. Ну вас, я пошла! К Берте. Ненадолго.

— Смотри там у меня!

— Ос-споди, опять!

— Пошел в отпуск, так съездил бы куда-нибудь! — сорвалось вдруг у Клавдии.

— А что тебе моя поездка? — Санька так и замер.

— Да что-то ты испсиховался. То ли на работе неполадки, то ли я не угодила.

— С чего взяла?

— Вижу, не слепая. То, бывало, ботолишь без умолку, а теперь как бука ходишь. Утром встал молчком, поел молчком, ушел молчком. Что случилось? Чем не угодила?

Нет, не было притворства в Клавдиных глазах. Ее глазам он верил больше, чем самому себе.

Вышел на крыльцо и закурил. «Черт-те что лезет в голову, блажь какая-то, и только. Может, на фотке вовсе и не тип, а так себе — баламут... Сам ведь с доярками по-всякому хохмишь!»

* * *

У Васильевых тоже не спали. Горислава Петровна мыла посуду, Степан в синем спортивном костюме сидел на кресле, тискал на коленях рыжего сиадца Фомку. Выгнувшись дугой, кот урчал блаженно, отбивался лапой. Степан стряхнул с коленей Фомку, кивнул на телевизор.

— По второй «Торпедо» со «Спартаком» пластаются. Переключить?

Санька отмахнулся. О том о сем поговорили, он глянул на часы.

— Да, чуть не забыл. — Степан из шкафа вынул раскосмаченную книгу. — Галке отнеси. Почитать просила Мопассана. «Милый друг».

— Ей бы вот ремня хорошего — не друга. В алгебре не петрит ни хрена, на уме одни друзья. Как экзамены будет сдавать, на кого надеется? — Но книгу все же взял. — А разве Галка не у вас? — тут же спохватился.

— Нет, и не было сегодня.

— Да как же это не было? Она ведь ненамного раньше умотала.

— Горя, Берта где? — спросил жену Степан.

— К Сычихиным ушла.

— Ясно, — сказал Санька. — На танцы умелись.

— А ты чего зашел-то? — спросил его Степан. — По делу или так?

— От Клавдии спасаюсь... Порошка не взял!

— Только что с Петровной объяснялся! Оплошали, брат!

6

Армия не сразу отпустила Саньку. Часто снилось: служит долго, бесконечно долго, да и не служит уже, а дослуживает. По казарме бродит неприкаянно, никому до него и ему ни до кого нет дела. И ни единого знакомого лица — все чужие, равнодушные. Но вот каким-то образом вдруг выясняется, что Санькин год демобилизовали, а про него забыли. Его не замечают: что есть он, что нет его. И когда выясняется, во всевозрастающей тревоге пускается он в бега по многочисленным штабным кабинетам, что-то кому-то доказывает, в чем-то кого-то убеждает, а всем недосуг, всем не до него, все как в разворошенном муравейнике. И вот уже штаб — не штаб, а совхозная контора, Валюха Шубина плывет по коридору, тычет в него пальцем: «Ба-а, Сычи-и-ихин! Похохмил бы че-ни-будь!» И Клавдия, будто чужая, шествует мимо. Глядит куда-то в сторону, как призрак...

Санька в поту пробуждался, озирался в потемках и соображал, где он — в прошлом или настоящем. Но рядом с ним лежала Клавдия, спящая по странной привычке носом в подушку, на груди, до умиления близкая, родная. Вместо металлической сетки казарменной койки верхнего яруса белел над головой потолок отцовского дома. Санька вздыхал облегченно, и радостью за предстоящий день, по-неуставному вольный, свободный, переполнялось сердце.

Единственный хранитель памяти армейского прошлого — дембельский альбом, когда-то ревностно лелеемый, а теперь забытый, плесневелый, — лежал сегодня на столе. В пропыленном жаберном чреве его не

оказалось снимка сержанта Грязнова. Адрес, вписанный впопыхах, да брошенное на ходу: «Доведется быть в Среднесибирске — заходи» — вот и все, что осталось на память...

Какое «заходи!». Вот и альбом насилу разыскал. В ящике на чердаке. До сего времени не знал, не ведал, где он, уцелел ли после переезда в новую квартиру. А главное, не испытывал потребности ковыряться в прошлом. Ведь все те парни, что в силу общей необходимости на короткий отрезок времени (что в нашей жизни два года!) оказались рядом и, понятное дело, стали в чем-то даже близкими, — давно получили команду «вольно, разойдись!» и с радостью исполнили ее. Разошлись каждый своей дорогой, по которой, не будь соединившей их необходимости, пошли бы двумя годами раньше. Что уж тут ворошить!

Теперь же приятно было просто сознавать, что и ты в свое время исполнил долг и сделал это, пожалуй, не хуже других. Об этом думалось легко и с некоторой даже грустинкой, как о молодости вообще. Не потому ли весной — в мае, осенью — в ноябре, когда Кузлюкин Леха подгонял автобус к сельсоветскому крыльцу за очередной партией шадринских призывников, приходилось корчить ваньку, захмелевшего на проводах, демонстрировать ушастикам умудренность опытом, к месту и не к месту разбавляя наставления чем-либо шутовским, типа: «Хорошая школа армия, но лучше бы пройти ее заочно», или загадочно-весомым: «Служба солдата осеннего призыва начинается с иголки и лопаты», и верить в то по крайней мере, что последнее назавтра по достоинству оценится...

Видимо, ночи дарованы человеку не только для сна, но и для размышлений. Поспать для освежения сил можно в любое время суток, при любых обстоятельствах. Лучше, разумеется, дома. Но в случае крайней необходимости соснуть часок-другой можно на работе, если, конечно, начальства поблизости не наблюдается. А иные под маской глубокомыслия и отрешенности от земного умудряются почивать и на работе, стоя, на ходу... Видали таких. В армии, в роте охраны, где Саньке служить дове-

лось, один вояка насобачился спать на посту. Стоит с карабином через плечо, с открытыми, как положено, глазами, и спит себе втихушку. Не шелохнется. Как статуя...

Ночью только и подумать, и повспоминать.

Да вспоминалось-то невеселое, все что-то мрачное, шемящее...

Как шел домой с большака поздним мартовским вечером. Шел со справкой об освобождении в кармане, втянув голову в плечи, пряча лицо от сельчан. Не хотелось быть узанным раньше утра, встреченным сочувственной во взгляде. И не верилось, что волен. Волен и свободен. Слова-то какие! А уже весной пахнуло. Впервые он тогда — после года неволи — почувял, как весной пахнуло. Сердце тревожилось, вздыхало...

Говорят, весна приходит. Кто это выдумал? Не приходит она — рождается. Как листья из почек, как лепестки из бутонов. Или — нет. Из ничего рождается. Как настроение. В один прекрасный миг проклюнется что-то в природе, и — забродило, задышало, вспучило...

Дорогу домой можно было спрямить, но он предпочел крюк. Даже не глянул на проулок, словно и через год после аварии боялся увидеть на боку искореженный падением «уазик». А в доме светилось окно, калитка болталась распахнутой...

И был долгий вечер. И уже за полночь, уложив в постель дочурку — ей шел тогда седьмой годок, сидели с Клавдией вдвоем, и ни слова о прошлом, ни слова о будущем. Перед тем как лечь, вышел покурить, а ночь стояла теплая и черная, и звезды в небесах висели крупные и яркие. Следом вышла Клавдия, рядом постояла. «Хорошо-то как, — сказала. Уронила голову на его плечо. — Красота... А мы не видим. Плохо, Сань, живем...».

* * *

В сенцах звякнула щеколда. Галка, крадучись, бесшумно проскочила в свою комнату.

Санька приподнялся на локте, глянул на будильник: без четверти три ночи...

7

Утром грянул гром.

Санька поднялся ни свет ни заря, сходил на озеро, проверил мордушки. В первой оказалось пусто, а во второй, со свежей тестовой приманкой, кишмя кишели караси. «Буду весь отпуск рыбачить!» — Санька улыбнулся светлой мысли.

Поутру из колонки вода бежала чистая, как слеза, напор бывал хорошим. Наполнив кадку, ванну, чугунок — все, что стояло пустым на огороде, зашел перекусить.

Второпях позавтракав, Клавдия внесла ведро с водой из сенец, достала тряпку для мытья полов.

— Погоди-ка, мать, — распорядился Санька. — Барыню буди.

— Пускай еще поспит, — подоткнув подол, возразила Клавдия.

— Кому сказал — буди.

Клавдия уставилась на мужа.

— Не с той ноги, что ль, соскочил? — Но тряпку бросила, прошла в дочерину комнату. — Вставай, лежебока, будет тебе нежиться — белый день на дворе...

Галка сладенько зевнула.

— Который час, мамуля?

— Девятый, доченька. Вставай. Отец опять не в духе...

И эта воркотня вывела Саньку из терпения. Гнев всклокотал в нем, как вода в колонке.

— Живо одевайся. Выходи!

В комнате у Галки ненадолго стихло. Первой вышла Клавдия, не поднимая глаз, опять взялась за тряпку.

Санька крикнул:

— Брось!

— Что все это значит? — возмутилась Клавдия.

Потупясь, вышла Галка, на отца взглянула. В джинсах, в кофточке в обтяжку, в босоножках.

— И далече мы собрались? — пропел язвительно отец.

Галка настороженно глянула на мать.

— Ты пошто с утра таким-то тоном? — за дочь вступилась Клавдия. — Чем она проштрафилась?

— Ладно! Не встревай! — Санька аж ногой при- топнул. — Ты кого, мать, рóстишь? Ты кого пестуешь? На поглядочку лелеешь? Глянь, какая кобылица! Сем- надцатый год! Семнадцатый! А она палец о палец не ударит, помочь не попнется. Ты изнежила ее до не- возможности. Погляди на эту кралю: штаны — не штаны, кофта — не кофта... Серьги в ушах, крестик не шее, часики с браслетиком... Да не простые — с позолотой! За какие заслуги? Ты в ее-то возрасте о таких мечтала? Или — я? Я первые часы после армии купил. А на ней что повешено? — Санька отдышал- ся, повернулся к Галке. — Рукава засучивай, принцес- са!

— Дай хоть умыться сперва, — буркнула дочь.

— Пусть она покушает, — проронила Клавдия.

— Пока не заработала!

— Ты, гляжу, прямо извергом сделался. Злющий как собака! — вскрикнула жена. — Либо порчу напустили на тебя? Что с тобою приключилось? Ты пошто таким-то стал?

— А пото, что изоврались! С дочерью на пару!

Галка кинулась к ведру, на ходу схватила тряпку. Отец остановил.

— Во сколько ты явилась?

— Не помню точно, пап...

— Она не помнит! Подсказать?

— Где-то во втором...

— Врешь. Не во втором, а в три. Где до этих пор бол- талась?

— Сперва у Берты посидели...

— Опять же врешь! Не было у Берты. Духу твоего там не было вчера! Где, спрашиваю, шастала? И не вздумай врать!

— На танцульках, вот где!

— Танцульки до двенадцати. А после? Подскажу. У монтажников была. Почти до трех часов. Чем вы зани- мались? Семечки щелкали?

— Музыку гоняли.

— Музыку? Дурацкую? С рыжим этим, да?!

— Ну, хотя бы с рыжим. Чем не поглянулся? — На глазах у дочери навернулись слезы.

— А тем, — сказал отец, — что он, может, десять раз уже женатый-разженатый. Может, у него семеро по лавкам, а ты с ним музыку гоняешь!

— О-ос-споди, всего-то двадцать! Весною только дембельнулся. Между прочим, из Афгана.

— У него на лбу написано, что холост? В паспорт заглянула? То-то. Он тебе лапши навешает... «Двадцать!» Да у него бородачи на все тридцать. Ты вот почему с нашими ребятами не дружишь? С шадринскими? Все на виду, всех как облупленных знаешь.

— Что в наших интересного? — Галка постепенно обрела уверенность. — У наших только драка на уме. Вчера монтажников побили. Одичали, будто звери!

— Побили, говоришь? Мало, значит, выпали. Я бы тоже мозги вправил этому афганцу... Чтоб не сбивал девчонок с панталыку. Наши, значит, дураки, а городские — умники. Чем они умнее-то?

— Записи что надо. Ну и так, вообще... Играли на гитаре, потом варили кофе, а потом гуляли...

— «Потом», «потом!» А что потом? Ведь не ребенок ты уже, понимать должна. Не, мать! — повернулся к Клавдии. — Изнежили, дыхнуть боялись громко. Все капризы исполняли. Что ни запросит — на, на, на! Вот и результат. А мы надеемся, она у Берты просвещается. Хватит. С сего дня без моего ведома ни шагу. И чтоб я эти побрякушки на ней больше не видал. И не вздумай потакать. Дождемся, что в подоле принесет!

Вконец расстроенная Клавдия убито отмахнулась.

— Принесет, так вырастим!

— Что-о?! Попроу обеих! Вытолкаю в шею! На Феньку Боголюбову равняетесь? Косметикой для этого снабжаешь? Для кого нахапала? Для дочки? Для себя? Может, сами там с Валюхой штукатуритесь? Музыку гоняете? Про курсы рассказываете? Есть, наверное, что вспомнить? Почему же нам не все расскажешь? Не все фотки принесешь? Покажи-и! Не таись! Интересно!

— Спятил... Он сошел с ума! — Клавдия, бледнее на глазах, отступила в сторону. — Чего при дочери плетешь? Какие еще фотки?

— Это я плету? — В глазах у Саньки потемнело. — Ах ты, артистка из конторы! — Он в ярости взмахнул рукой и залепил пощечину. Звонкую, как выстрел.

Охнув, Клавдия осела. Галка, бросив тряпку, со слезами на глазах убежала в комнату...

Санька выскочил из дома, распахнул калитку.

Не заметил, как пришел на озеро. Детвора на берегу удила рыбу, старухи на лужайке пасли выводки гусят. Санька огляделся, лег навзничь под талинами, обхватил затылок...

Когда-то с ним такое было. Давно, в сопливом детстве. Ждали в гости дядю, материного брата. Морьяка из Севастополя. И вот он прислал телеграммку: встречайте такого-то, буду. Мать всполошилась, затеяла стряпню. Санька — на большак. Дождище поливал, дорогу развезло, и он боялся, что автобус не придет, на полпути застрянет. Но автобус все-таки дополз. И дядька — в форме и фуражке — вышел, осмотрелся. Санька бросился навстречу, но оскользнулся и упал. Носом прямо в лужу. Пассажиры засмеялись, и дядька улыбнулся, прошел мимо. Он Саньку не видел до этого, потому не мог узнать. Но Санька от обиды и конфуза сбежал тогда на озеро, под этими талинами до вечера проплакал. Не оттого, что в лужу шлепнулся, — это ли беда! Оттого что дядя посмеялся. Так же вот обида жгла, душила... И совестно, и стыдно было, что ударил Клавдию...

В глубине подсиненного неба парили кругами серые коршуны. Санька наблюдал за плавным их кружением, постепенно успокаивался.

8

Холодная война в доме Сычихиных грозила принять затяжной, устойчивый характер. Санька не находил повода к примирению, а Клавдия, оскорбленная подозре-

нием, похоже было, не искала повода. Хозяйничала молча и озлобленно.

— Все, Санечка, — сказала как-то утром. — До отпуска работаю, и все... Хватит. Нажились. Галка не ребенок — все поймет.

Галка тоже приуныла, безропотно томилась в домашнем заточении. Часто заходила Берта. Взглянув опасливо на Саньку, шмыгала к подруге. О чем шушукались, приходилось лишь гадать. Санька догадывался — монтажники уже установили трансформатор, строительство ЛЭП шло к завершению, приближался отъезд рыжего Генки...

В понедельник Санька, как обычно, сходил на озеро к мордушкам, бесцельно послонялся по двору. Снял с чердака старые удочки, стал приводить их в порядок, но бросил — душа не лежала к рыбалке. В ограде столбик требовал замены, а ничего не делалось, тошно стало жить.

Выручила почта.

Днем Галка пошла в магазин, вернулась с хлебом и газетами под мышкой, а в руке — открытка. Попутно вынула из ящика.

— Приглашение тебе! — с порога сообщила.

— Какое приглашение? — с дивана безучастно отозвался Санька.

— Уважаемый Сычихин Александр Иванович! Среднее профессионально-техническое училище номер сорок приглашает Вас — с большой буквы, пап! — принять участие во встрече выпускников разных лет, посвященной тридцатилетию училища. Встреча состоится в восемнадцать ноль-ноль... — Галка прервалась, глянула на численник. — Уже завтра, пап! — по адресу Ремесленная, два... Ой, как здорово! Поедешь?

— Как же, разогнался. Кто меня там помнит, кто меня там ждет? Столько лет прошло!

— Так ведь друзья, наверно, соберутся.

— Какие там друзья?!

— Зря, — сказала Галка. — Я бы с удовольствием!

— Ты бы, да не съездила! Тебе, поди, не терпится отца скорей спровадить?

— Опять ты за свое!

И вот тут ему стукнуло в голову. Ведь открытка — это выход. Вернее, выход не открытка — встреча. Не встреча даже, а поездка. Повод для отдушины. Почему бы не проветриться? Денек-другой среди народа потолкаться, отвлечься, отдохнуть от этой круговерти. Осточертело все, с ума сойти. Лехи Кузлюкина дело — не сменить ли декорации?

Санька так разволновался, что соскочил с дивана, схватил открытку со стола, пробежал глазами.

Галка собрала на стол, обедать позвала.

— Если, пап, поедешь, то новый костюм тебе нужен, — сказала за столом. — Тот, — на шкаф кивнула, — моль давно почикала.

— К чему на новый тратиться — старый еще гош.

— Ну да, поедешь в жеваном!

— Так что мне, ехать, что ли?

— Конечно, поезжай! Картошки нашим отвезешь. Когда еще писали — картошка на исходе.

«Нашим» значило для Саньки — тестю с тещей. Теща — Анна Тимофеевна, по-местному — Покровская (родом из соседней Новопокровки) — к старости надумала пожить красивой жизнью. Соблазнила мужа в город, где проживали двое сыновей и старшая дочь, Василина. На окраинной улице Среднесибирска старики купили домик; свой же, дедовский, стоял в Шадринке заколоченным. Сыновья и дочь жили по соседству, в обшарпанных хрущевках, работали на фабрике, и домик на улице Северной служил доставочным пунктом. Санька ежегодно завозил туда картошку, сало, лук, оттуда в равных долях все это уплывало к потребителям. Тестя Санька уважал, к Анне Тимофеевне претензий не имел, но потребителей открыто недолюбливал, поскольку ни один из них ни разу не явился к нему на огород помочь копать картошку. Зато все трое обладали удивительнейшим нюхом и являлись к старикам день в день прибытия товара...

* * *

После обеда сходили с Галкой в сельмаг. Костюмов висело на плечиках много, разных размеров, расцветок,

но дочь замудрила, браковала один за другим: то материал ей не нравился, то шитье не устраивало. Перебрали все, что на виду висели, по другому разу принялись. Саньке приглянулся темно-синий — ткань немаркая и плотная, если и зацепишь, то порвешь не сразу, и цена подходит. Но Галкин выбор пал на светлый, в тонкую полосочку.

— Так он же маркий, — возразил отец. — Раз-другой наденешь и — капец костюму.

— В нем тебе на ферму не ходить. — Сдернув с плечиков костюм, дочь заставила примерить.

Галкин выбор Боголюбова одобрила.

— Знает девка толк в мужских нарядах! К этому костюмчику бы галстучек под цвет.

Галка ухватилась за идею. Продавщица раструсила связку разноцветных галстуков, стали в них копаться, как девчонки в лоскутках. Санька поверх головы продавщицы на полку с книгами взглянул — литературы прибавилось.

— А что, родня, — осведомился, — берут литературу?

— Как же, берут помаленьку.

— Тогда продай и мне Грязнова. В дороге почитаю...

— Грязнова, говоришь? — Продавщица подняла глаза на Саньку.

— Книжечку такую! В беленькой обложке... Автор — А. Грязнов.

— В беленькой сегодня школьный военрук последнюю забрал.

— Дался тебе этот А. Грязнов! — удивилась Галка.

— Вы кончайте в галстуках копаться. — Санька вдруг заторопился. — Некогда мне тут.

...По дороге домой дочь беспрестанно щебетала:

— Пап, ну ты доволен, нет? Костюмчик клевый, верно?

Санька снисходительно кивал.

— Клевый, доча, клевый!

— И галстучек ништяк?

— Еще бы!

— Мы к нему рубашку подберем!

— Как же без рубашки!

Галка неожиданно споткнулась.

— Пап, я к Берте заскочу?

— К Берте? — Санька сбавил шагу.

— Ну что ты, пап! На полчаса.

— Ну, если на полчасака... Смотри ты мне, лисичка!

Домой шел примиренный, с обновкою под мышкой, но безотрадно, горестно было на душе. Для равновесия души доставало малости — уюта в своем доме...

Вечером пришла Шубина Валюха. Она теще приходилась крестницей, и надо отдать должное, крестную любила. Валюха со свертком в руке топталась возле Саньки — он перебирал издряблую картошку.

— Не забудь, Санечек, пирожки отдай. Све-ежие! С черемушкой! Уж так она их любит! «Я, Валюнька, — скажет было, — слаще не едала!»

— Передам, не беспокойся, — усмехнулся Санька.

— Передай, будь сладеньким! — Валюха обратилась к Клавдии: — Я как-то раз с Кузлюкиным отправила. Сlopал, паразит. Съел, не подавился!

Тут Санька прыснул в сторону.

— Ох, родня, родня! Не будь ты Шубиной Валюхой, ни в жизнь не взял бы от тебя стряпню.

Валюха запоздало взмахнула руками.

— Ведь я без задней мысли! Вспомнилось, и только. Ну, съел так съел, и на здоровье. И ты поешь, если захочешь. Подумаешь, беда! Напеку еще, черемушки навалом.

Клавдия, до этого молчавшая, голос подала:

— Смотри не заводись там с мужиками. Трезвый-то не сахар, а выпимши — дурак. Твою натуру, слава Богу, знаю. Как выпьешь, все тебе родня, все братья и товарищи.

— А я не рвусь, могу не ехать!

Валюха встрепенулась, накинулась на Клавдию:

— Ты что, подружка дорогая? Кла-а-авдия ты Кла-авдия! Пошто на мужа напустилась? Ведь он не забуддыга, не алкаш какой! Кого попало-то на встречу не зовут. Ехай, Саня, ехай! — оговорила от волнения. — Езжай, не слухай, ну ее!

Санька ссыпал картошку в мешки, ведро рахитичных ростков вынес за ворота. Валюха у канавы догнала.

— Дубина ты, Сычихин! Неужто впрямь приревновал любезную свою? Она ведь карточку тебе специально не казала, чтоб не распалять фантазию твою. Знаешь, с кем она сидит-то? С Сизовым дядей Ваней, главбухом из Покровки. Он ее пупсиком помнит. Фронтвик. С деревянной ногой. На балалайке тренькает. На курсы, Клава говорила, приехал с балалайкой. А ты? Уж если ревновать, то Клавдии тебя!

— К кому бы, любопытно?

— Да хоть бы и ко мне.

— Не выдумывай, родня.

— Я, Саня, в свое время пронадеялась... Из-за тебя и годы упустила. Помнишь, как с тобою целовались? Ты на каникулы приехал, в училище учился... Забыл, Санечек, да? А я вот не забыла.

— Собираешь абы что. Вспомнила б детсад!

— Для тебя, Сычихин, было, да быльем поросло, а у меня, быть может, только это и осталось. Хорохорюсь, бегаю, шумлю. А на душе-то, Саня, кто бы знал!.. Чем дальше, тем страшней. Думаешь, она не понимает? Все она, Санечек, понимает. Не обижай ее, дурак!.. А вот косметику, духи для себя купила. Там-то насмотрелась. Девчонки крашутся, малюются... Не старуха, Саня! Ну и что, что тридцать шесть? За тебя, ревнивца, в девятнадцать вышла — и в старухи сразу? Привезла оттуда, думала — сгодится. Феня Боголюбова только и помазалась... Нет, видно, все. Все наше позади...

9

Леха Кузлюкин слово сдержал: доставил Саньку до калитки тещиногo дворика. Помог выбросить мешки с картошкой из автобуса, просигналил на прощание и поехал по делам.

Тесть, Илья Фомич, в летних шароварах, в белой майке и плетенках — сидел на низком, в две ступеньки, крыльце, жмурился от солнца.

Санька волоком втащил мешки с картошкой в сенцы, бросил на лавку баул с Валюхиной стряпней, поверх баула «дипломат» — Галка для солидности всучила.

— Ну, как вы тут? — осведомился для порядка. Окинул теплым взором уютный тесный дворик, обсаженный малиной и крыжовником, с клумбами вдоль узенькой дорожки.

— Так вот и живем, — ответил тесть загадочно.

За что Санька его уважал, так в первую очередь за немногословность и несуетливость. Теща тотчас бы пустилась в расспросы и допросы — надолго ли приехал, какие новины привез (кто там, в Шадринке, женился, у кого кто родился, кто помер, кто уехал)? — а тесть и бровью не повел, будто все ему побоку, ничто не любопытно. Сдержанность в эмоциях исходила у него не от задубелости сердца, оно-то как раз было чересчур ранимым, восприимчивым, сплошь во вмятинах и царапинах. Вот уж кто познал, почем фунт лиха. В детстве беспризорничал, войну от Подмосковья до Берлина прошагал, полкило цветмета в легких. Сдержанность в эмоциях шла, скорей, из детства, когда и от затрещины плакалось втихую, чтобы не добавили, и прянику случайному радовалось в одиночку, дабы не отняли...

— Так вот и живем, — со вздохом повторил Илья Фомич. — Сама-то все в бегах, покамест всех подружек не облетает, не явится. Кукушечка бездомная — не бабка! Тебя, поди-ко, надо покормить?

— Не хлопочи. Не с пашни, не промялся.

Отсутствие тещи Саньке было на руку. Сказать, что в семье все в порядке, значило соврать, а кривду Анна Тимофеевна распознавала по глазам.

Тесть, напившись чаю с Клавдиным вареньем, прибрав посуду со стола, вновь уединился на крылечке. Санька полистал увесистый кирпич мемуаров Жукова с фольговой закладкой на сто седьмой странице (ненамного же продвинулся с осени старик!), и тут ему пришло на ум...

Если книжечка Грязнова попала к ним в Шадринку, то наверняка имеется и здесь!

Он какое-то время помедлил, затем решительно вскочил. Перед зеркалом поправил галстук на рубашке, в сенцах снял с баула «дипломат».

— Ну, я потопал потихоньку. Ужинать не ждите, а ночевать приду.

— Ступай встречайся, коль приехал. Не забыл, как до Ремесленной добраться? До центра на трамвае-«тройке», оттуда — на автобусе-«семерке»...

Санька в справках не нуждался. До Ремесленной, два, до пэтэушки-сороковушки, с завязанными глазами мог бы добраться. А ведь всего-то ничего и поучился. Все, видно, потому, что город невелик, за два десятка лет почти не изменился... На Ремесленную, два, так же как и на Рабочие, одинаково чумазые, одетые в асфальт, Саньку безошибочно вывел бы и нюх...

Было в удовольствие пройтись по праздной, изукрашенной неонам, сверкающей витринами центральной улице Среднесибирска. Легко по ней шагалось. Но — одному. Клавдия с ходу пускалась в бега по магазинам, металась от отдела к отделу, лезла во все без разбору очереди, так что к вечеру Санька, вконец измотанный, с высунутым, как у собачонки, языком тащился позади неутомимой половины к тещиному домику с единственной мыслью добраться до постели. Другое дело прогуляться в одиночку, бесцельно, для души. Порцию пломбира на ходу слизать, купить какую-либо безделушку, свежую газету, присесть в тенечке, подивиться людскому муравейнику и в кои веки ощутить себя действительно пылинкой. Город Саньке так же был необходим, как, наверно, горожанину село.

* * *

В книжном магазине он едва от радости не вскрикнул. Новенькая книжечка в беленькой обложке лежала на виду. Санька выбил в кассе чек на сорок пять копеек, всунул книжку в «дипломат» — и стрелюю к выходу.

В скверике уселся на скамью перед бодро фонтанирующим гипсовым китенком и, сгорая от нетерпения,

развернул на коленях книжку. И чем дольше вчитывался в повесть, тем меньше оставалось в нем сомнений: автор — он, сержант Грязнов. И сам герой грязновской повести напомнил нечто давнее, забытое, что из-за вялости усилий являлось иногда блеклыми картинками, случайными, разрозненными звеньшками, не образующими осмысленной последовательности...

Санька соскочил со скамьи, заходил кругами. Что же это получается? Выходит, он с живым писателем служил? Это же какую голову надобно иметь, чтоб книжку сочинить! Ай да гвардии сержант! Ну, Грязнов, ну, Лев Толстой! Ведь кому в Шадринке рассказать — не поверят, засмеют, собаки! Самому не верится. Вот кто жизнь, должно быть, знает. Вот бы с кем поговорить! Отчего так кошки на душе скребут? Отчего так тошно? Будто виноватый. Перед Галкой, перед Клавдией... Валюхой, черт возьми! Что за напасть-то такая?

«А что если зайти? — мелькнула вдруг шалая мысль. — Явиться и бухнуть с порога: здравствуй, сержант! Узнаешь рядового Сычихина? Когда-то строевым учил ходить. Разучился, брат. Учи по новой!»

Ехать предстояло через город, и трамваем — долго. А Саньке не терпелось, он спешил, боясь перегореть. Поймал такси. Водитель оказался парнем сметливым, спиной почуял нетерпение...

Дом № 2 по улице Мира ничем не выделялся из унылого ряда других пятиэтажек. За торцовым фасадом бойко шла торговля квасом, всюду палило солнце, тополинный пух кружился в воздухе, опушая клумбы и газоны, сугробами катился по асфальту. И в подъезде, так же как в других ничем не примечательных подъездах, пахло плесенью и кухней. На почтовых плоских ящиках в ряду — мелом нарисованные рожицы. Одна — без ушей — звалась Борькой, другая — с бантиком, без носа — Райкой. Между ними красовался жирный «плюс» и справа — результат: «оба дураки».

«Художнику видней». — Санька отчего-то замешкался в подъезде. Решимость утекала, как вода сквозь пальцы. И тогда, собрав ее остатки, он в три скачка взлетел наверх, вдавил кнопку звонка до упора.

За дверью шаркнули шаги, шелкнул внутренний замок. На площадку вышла женщина. В Клавдином возрасте, вся в чем-то светло-голубом и воздушно-легком...

У Саньки отчего-то запершило в горле.

Женщина окинула его пытливым добрым взглядом. Вскинув длинные ресницы, улыбнулась вопросительно.

— Вы к Анатолию Пальчу? А он в командировке...

Санька растерялся окончательно. Он, конечно, догадался: перед ним — писательша.

Писательша раздумчиво поморщилась, и в голубых ее глазах блеснуло любопытство.

— Вы к нему... по делу?

— Мы с ним в армии служили!

— Во-от оно что! — обрадовалась женщина. — Толя будет рад... Зайдите к нему завтра. Завтра он вернется...

— Лина! Кто там? Не ко мне? — раздался голос из квартиры.

Дверь перед Санькой затворилась...

Он вышел из подъезда, отдышался...

О встрече в пэтэушке не думалось уже. Сел на скамью возле кинотеатра, ослабил узел галстука. Глядел в книгу — видел фигу. Строчки, как мысли, цеплялись одна об другую...

На краю скамьи, склонясь, сидел мужчина с красными руками, в пестрой, навыпуск, рубашке и, тихо беседуя с голубями на асфальте, крошил в ноги бублик. Время от времени он распрямлялся, взглядывал на Саньку, и улыбка на губах медленно таяла, глаза в прищуре суживались. Казалось, он хотел заговорить, но отчего-то не решался. Скрошив бублик голубям, руками хлопнул по коленям.

— Пора! Сейчас начнется! — И пошагал к кинотеатру.

И Санька как замороженный последовал за ним.

На дневной сеанс народу набралось негусто. В душном кинозале, не досмотрев журнал о дружной пионерии, Санька разомлел и задремал. И уже когда вышел на улицу, а в глаза с прежней силой ударило солнце и асфальт под ногами пружинил, он понял: фильм был о войне, и в сонный мозг она вошла с экрана проливным дождем и громом.

Мужчина с красными руками вновь уселся на скамью, из кармана мешковатых брюк извлек обломок бублика.

«Прочно, видно, основался! — Жирных голубей Санька не любил. В уборочную на току они промышляли тучами и, отяжелевшие, не могли взлететь, ковыляли хомьяками. — Зачем же я сюда приехал? Расфрантился, как пижон. Галстук нацепил! — Он рывком распустил узел галстука, сорвал его с рубашки, бросил в «дипломат». Стал решать, что делать дальше. — Домой? Автобусы ушли... На встречу? Уже поздно... К теще? С расспросами прилипнет...»

Ноги гудели, как провода. Только теперь ощутилась усталость. Так бы и сидел. Время утратило значимость...

— Слушай, друг, где я мог тебя видеть?

Вопрос застал врасплох. Санька ткнул себя в грудь кулаком.

— Вы это мне?

— Ну да, кому ж еще-то! — мужчина утвердительно кивнул.

Санька буркнул раздраженно:

— В кино дремали рядом.

Мужчина неуверенно придвинулся.

— Кроме шуток, ну? Где-то вроде видел, но вот где — не вспомню... Может быть, во Владике служил?

— Ближко не бывал. — Санька покосился на липучего соседа, взял свой «дипломат», чтобы уйти.

Мужчина внезапно выстрелил пальцем.

— В Покровке не бывал?

— В Покровке-то бывал. — На тещиной родине Саньке бывать доводилось. В страду, как правило, садился за комбайн, а покровские ребята сами с жатвой не справлялись, к ним частенько присылали помощь из Шадринки...

— Ну вот, а я оттуда родом! — мужчина засмеялся заразительно.

Санька вновь установил свой «дипломат».

— А я шадринский, стало быть... Сычихин Александр.

— Так вот где мы с тобою виделись! В сороком училище! Ты по электрике учился? Кажись, у Колобка? Ну, вспомни Колобкова-то! «Колобок, Колобок, я б тебя съел!» Мастер был у вас. Как, не промахнулся?

— В яблочко попал!

— Семен не промахнется! — по-мальчишески задорно похвастался мужчина и коротко представился: — Малышин.

— Выходит, ты на встречу прибыл? — догадался Санька. — Чего ж тогда торчишь тут? С голубями забавляешься?

— Да так, — поморщился Семен. — Долгая история... Я почему тебя запомнил? Ты сальто-мортале здорово выделявал. Фигурой вроде бы не вышел, но крутился как приклеенный. Со страху аж кишки стонали, когда ты солнышко крутил. Было дело, ну, Санек?

— Изображал и солнышко.

Семен с размаху шлепнул по плечу, да так, что Санька крякнул.

— Слушай, друг, — сказал Семен, — пойдём ко мне в гостиницу. Посидим, поokaем. У меня для встречи кое-что стоит... Ребята обещали вечерком зайти.

Долго уговаривать Санька не заставил.

— Ну что ж, встречаться так встречаться!

* * *

За столом у окна с видом на скучный пейзаж новостроек разговор незаметно превысил гостиничный уровень громкости.

— Хорошо, Санек, что мы с тобою встретились! — с чувством произнес Семен, разливая дорогой коньяк по пластмассовым стаканчикам из-под плавленого сыра, и с опаской вслушался в шаги за дверью. Вооруженная строгой инструкцией новейшего Указа дежурная по этажу держала ушки на макушке. Шаги стихли в конце коридора, и Семен поднял стаканчик.

— Давай за встречу, друг Санек!

— Давай, Семен, за встречу! — Санька нацепил на вилку половину рыхлой помидорины, щедро начиненной солью.

Семен ему понравился. И нос его солидный, и ручки красные, широкие, и привычка нукать вопросительно — все это вызывало уважение. Бывший пэтэушник занимал в своем совхозе какую-то начальственную должность, но человеком был простецким, с ним легко сиделось...

— Если б мы с тобой не встретились, третий раз подался бы в кино, — с грустью произнес Семен.

Кинотеатр притягивал Семена не фильмом о войне, а журналом про безоблачное детство. И даже не журналом целиком — коротеньким отрывком, где в радужных брызгах прибоя берегом Черного моря легко, как на крыльях, неслась за белой яхтой хрупкая девчушка, удивительно похожая на его, Семенову, дочурку...

— Она у меня умница, честное слово, — с нежностью рассказывал Семен. — Осенью пойдет уже в четвертый, круглая отличница. Со сцены на скрипке играла!.. Не веришь?

— Отчего не верю... Очень даже верю! — отозвался Санька, смутным чем-то растревоженный.

В прошлом году умерла от рака Семенова жена, месяц назад в армию призвали сына. Всю жизнь Семен Малышин мечтал о тишине в своей квартире, и вот она настала, но жить в ней оказалось тошно.

— Бывало, с работы усталый придешь, а дочка на скрипке пиликает. Мне бы послушать ее, похвалить, а я уши затыкаю. У меня в голове от работы бедлам. А когда мы мамку схоронили, вижу, дочка к скрипке охладела. В школу ходит, как и прежде, но дома не играет. Спросил ее, в чем дело. И знаешь, что ответила? «Я маме любила играть, она хорошо меня слушала!» Вот какие тонкости... Я — играй, дочура! Буду тебя слушать, только не бросай! Как думаешь, не бросит она скрипку?

...Чужая боль слилась в Саньке со своею. Но не с сегодняшней — досаднейшей нелепостью представился прошедший день, — а с болью давнишней и смутной...

Сочный луг в июльском цвете увиделся вдруг Саньке. Стрекотали кузнечики, их беспрерывный стрекот оглушающим звоном отдавался в ушах. По-девчоночьи легко от цветка к цветку перебегала Клавдия. А он, стоя на дороге, цедил ругательства сквозь зубы: мотоцикл не заводился. Субботний день клонился к вечеру, а до Шадринки далеко. Припозднились с Клавдией в райцентре в бегах по магазинам... Но вот наконец мотоцикл чихнул, разразился тарактеньем. Клавдия с букетом розовых саранок вышла на дорогу. «И куда ты с ними?» — спросил ее, нахмурясь. Клавдия, вскинув ресницы, улыбнулась застенчиво: «Что ты, Саня? Бросить жалко. Красота какая!» «Да брось ты их!» — И он прибавил газу. Клавдия поднесла букет к губам, понюхала, зажмурилась. Шагнула на обочину, сложила цветы на каменистую землю...

Семен Малышин вдруг встряхнулся.

— А ты, Санек, меня не помнишь?

— Нет, — честно сказал Санька.

— Все правильно, я — серый. Я сроду серый среди серых. А я тебя, Санек, запомнил. Как солнышко крутил!

— По сю пору, друг, кручу. Все кручу, кручу, кручу — остановиться недосуг!

— Вре-ешь, Санек, — прервал Малышин. — Пузцо-то обозначилось уже. Теперь не до крученья.

— Кручу, Семен. Кручу! — упрямо твердил Санька.

— Да ты, земляк, никак, осоловел?

Но Санька не осоловел. Он, напротив, мыслил ясно. Так ясно, как, пожалуй, никогда. Если малость и шумело в голове, так это от жары и сутолоки города...

— Сегодня я ходил, Семен, к одному... писателю. Шел к нему, как теща в церковь. А он — в командировке. Для меня. Зачем я шел? Не знаю. Наверно, душу распахнуть... Мы с тобой, Семен, больше не увидимся. Поговорим и разбежимся. Тебе и распахну... Только без ухмылок! Распахни иному душу, а он соображает: либо ты дурак, либо ты хитрец. Кто вбил мне это в голову? Ухмылки. Много видел их, они всему виной. В панцирь душу-то загнали. В скорлупу. А ей там тесно. Жутко ей в потемках. Она ведь к свету тянется. Взять подсолнух в огороде. Ведь он,

собака, к солнцу тянется. Оно, Семен, у всех одно и свое у каждого. А ухмылки — удел обделенных, с обломанными крыльями. Тех, кто без солнышка в душе. И мы с тобой, Семен, с подрезанными крыльями, потому что тоже небезгрешны. Нам крылышки ломали, и мы ломцы хорошие!

Семен Малышин медленно поднялся, и во влажных его глазах появилась любовь к человечеству. Он сграбастал Саньку в крепкие объятия и в обе щеки по-мужски расцеловал...

Потом они в обнимку сидели за столом, Санька с чувством декламировал стихи:

Летела птица в поднебесье,

Охотник выцелил ее,

И неоконченная песня

Упала камнем на жнивье...

Семен Малышин плакал и смеялся от потрясения поэзией Кузлюкиной-Тумановой, от разгаданности тайны, способной спасти мир, погрязший в море лжи и фальши, оглохший от стрельбы человека в человека. Но человечество, что в этот поздний час укладывалось спать, работало в ночную, служило и творило добрые и темные дела — неблагодарное человечество в лице дежурной по этажу стучало в дверь, грозило выселением.

11

Во сне Санька видел себя подростком. Будто на покое. Сидит на конных граблях, понукает пегую кобылу: «Н-но-о ты у меня, раскоряка непутевая!» — подражает бригадиру конного звена. Кобыла вдруг очнулась и пустилась рысью по кустам да по кочкарику. Санька вожжи выпустил, повалился набок. Но искалечиться во сне ему не дали...

— Гражданин, здесь спать запрещено!

Санька разлепил набрякшие веки, огляделся и увидел, что он на городском автовокзале. В зале ожидания было полупусто, ожидающие медленно вставали, протирали красные глаза, смачно, с наслаждением зевали. Сбо-

ку скамьи висился щит с расписанием движения автобусов, а у изголовья — пожилой сержант.

Санька, шумно отдуваясь, сел и свесил ноги, пальцами ощупал подбородок, двинул челюстью, шевельнул руками и ногами. Все оказалось при себе, все двигалось, работало, но, к удивлению, саднило и болело...

Сержант милиции, видать, соскучился по службе.

— Ваши документы, гражданин!

Санька вздохнул удрученно, но от недоброй мысли вдруг захолонуло сердце, лоб мгновенно покрылся испариной. Он лихорадочно пошарил по карманам... Слава Богу, все на месте! Паспорт, деньги, записная книжка с адресом Малышина...

Сержант повертел документ, недоверчиво глянул на Саньку.

— Далеко ехать собрались?

— Домой, — ответил Санька.

— Куда — домой?

— В Шадринку.

— Во сколько отправляется автобус?

Первый утренний автобус отправлялся ровно в десять.

— Чтоб после десяти я тебя не видел, — скомандовал сержант. — Не порть мне тут картину. За версту несет!

«Должно быть, видок у меня! — догадался Санька. Он зашел в туалет, погляделся в зеркало... — Ма-амочка родная! Не нос, а безобразие! — Из свежей царапины на переносице, как из паза мох, торчали крошки подорожника. — Где же меня угораздило?» — Санька напился воды из-под крана, ополоснул лицо. Холодная вода утолила жажду. Каждая клеточка алчущей плоти обрела прежние трезвые формы, постепенно наполнялась содержанием. Санька стал припоминать...

Кричали стихи про убитую птицу, клялись друг другу в вечной дружбе. Потом пришли со встречи мужики. На столе появился коньяк, помидоры... Затем вошла сердитая дежурная... Брели по улице с Семеном, уже горели фонари. Шли спасти человечество. Но начать надумали почему-то с уголка у черта на куличиках, где-то аж за мясокомбинатом. Там проживал Семенов брат—мясник...

Долго ехали автобусом, брели каким-то пустырем. На пути возник забор... Тут и зацепило! Протискивались в узенький проем, и нос вдруг чем-то всковырнуло. Рану залепили подорожником. Затем почему-то ловили такси... Ах да! Семен передумал спасти мясника. Ему вдруг позарез потребовалось к дочери, в Покровку... Пошли искать такси... Но как он, Санька, оказался на вокзале? Ведь к теще было ближе! Или еще не иссяк в нем запал? Искал контактов с человечеством?

Санька причесался перед зеркалом, глотнул воды и вышел на перрон. Ночью пролил дождь, дышалось полной грудью. «Старики ведь с ума посходили! — опомнился он вдруг. — Ночевать вернуться обещал!» Нашел в кармане двушку, позвонил из автомата...

Теща истерично закричала в трубку:

— Что ты думаешь головушкой? Пропадаешь где-то, слуху не даешь!

Санька, улучшив момент, перебил:

— Я жив-здоров, чего и вам желаю. Ночевал у друзей. В «люксе» с душем. — Его вдруг охватила беспричинная веселость.

— Шуточки ему! — разорялась теща. — Мы глаз всю ночь не сомкнули. Все трезвиловки, больницы обзвонили... До моргов добрались!

— Брр! — Саньку передернуло. — Там холодно, родня!

— Что? Что ты сказал?

— Хо-олодно там! Ну его к дьяволу!

— А ты, однако, не проспался? Откуда звонишь-то, турист?

— Трезвый, и с вокзала. Я, мать, домой поеду.

Теща не на шутку всполошилась.

— Да что с тобой случилось-то? Пошто такая спешка? Какая муха цапнула?

— Домой хочу, и точка. Соскучился. Устал. Привет родным и близким. — Санька бросил трубку.

«И впрямь, пора домой, — решил бесповоротно. — Сейчас подъедет Леха».

Кузлюкин, возвращаясь, подъезжал к вокзалу за своими.

В автобусе сидели Васильев и Кузлюкина.

— Кого я вижу?! — Санька, дурачась, схватился за голову. — Кругом родня. Знакомые все лица!

— Сычихин собственной персоной! — заржал приветственно Кузлюкин. — Да с расцарапанной носярой! Сразу видно: вечерок на высшем уровне. Банкетик с дамами! Ну-ка, признавайся, кто поцеловал?

— Не обошлось, видать, без фокусов, — сказал разочарованно Васильев. — Ты случайно там не наследил? Бумага не придет?

— Больно рано разбежались, — удивился Леха. — Стоило ли ехать?

— Хорошего помалу.

— Правильно, Сычихин, — поддержал Васильев. — Приходи на ферму, будем движок ставить.

— Достал?

— А как же!

Новенький мотор в проходе в упаковке.

— Пробивной ты! — восхитился Санька.

Меж тем автобус выехал на тракт. Замелькали столбы новой ЛЭП, березовые колки, дачи горожан.

«Два часа и — дома, — обрадовался Санька. Веселость закипала в нем. — Все путем. И дома будет все в порядке... Царапина — пустяк, заживет как на собаке».

— Что-то, братцы, скучно едем, — удивился он. — Сидим как на собрании. Вы, Елена Трофимовна, стихи бы, что ли, почитали. Про птицу в поднебесье...

Степан на Саньку покосился подозрительно. Леха хохотнул. Кузлюкина обиделась.

— Все б вы с подковырками!

— Какие подковырки! Хорошие стихи. Ей-бо, не вру. Как там начинается? «Летела птица в поднебесье...».

— Звенела, Сычихин, — поправила Кузлюкина. — Не летела, а звенела. «Звенела птица в поднебесье...».

— Если звенела, значит, летела. Не полетишь — не зазвенишь! Разницы не вижу.

— Ой, не скажите, нет! Разница большая. — И общила как давно решенное: — Уеду скоро вот от вас. В Среднесибирск. Подруга в областной библиотеке заведует отделом. Звала к себе. Уеду. Долго ли собраться?

— Нет, так нельзя, — отрезал Санька. — На кого библиотеку?

— Галка ваша через год окончит школу, вот мне и замена. Склонность к делу есть. Учиться на заочное поступит...

— Никуда вы от нас не уедете.

— Это почему же так категорично?

— Кому вы там стихи-то будете читать? Там, поди, своих писак полно. А вы — наша. Местная.

— Ой, Сычихин, не смешите! — Кузлюкина закрылась рукавом.

— Чего уж там стесняться! — махнул рукою Санька. — Спеть бы, братцы, — скучно едем!

— Развезло мужика на вчерашние дрожжи! — усмехнулся Леха.

— А какую? — спросила Кузлюкина.

— Да люблю. Хоть вот эту. — Санька набрал воздуха в легкие.

Поехал казак на чужбину далеку

На своем, на боевом коне...

— Не в ту степь тянешь, — заметил Васильев.

— Черт ладу не понимает, лишь бы шум стоял, — прокомментировал Леха.

Кузлюкина беспомощно развела руками:

— Эту мне не вытянуть!

— Ну давай другую:

При лужке, лужке, лужке,

При широком по-оле...

Кузлюкина подхватила:

При станишном табуне

Конь гулял по во-оле!

И Степан не усидел:

*Вот споймал казак коня,
Зануздав уздою,
Вдарил шпорой под бока —
Ко-онь летит стрело-ою!..*

Пели в три голоса. И песня постепенно набрала силу, зазвенела...

Лишь Леха Кузлюкин изредка взглядывал в зеркало заднего вида и недоуменно пожимал плечами. «Три взрослых человека! — выражали Лехины глаза. — Три взрослых человека, а ведут себя как дети. Что же это с ними сделалось?»

И оттого, что не находил ответа, злее нажимал на газ.

1987 г.



ДО ПОРЫ ДО ВРЕМЕНИ



*Скрытен он стал, народ-то!
Прямо жуть как скрытен!*

И. Бунин.

1. Понедельник. ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ, МУЖИК НЕ ПЕРЕКРЕСТИТСЯ

Внезапная острая боль иглой пронзила сердце... Веремеев только что поставил точку в конце заглавного абзаца начатой статьи, расслабленно отпал на спинку стула, отпил холодного крепкого кофе из граненого стакана в медном подстаканнике и машинально закурил. Привстав, придвинул стул. Взял тетрадный лист, исписанный наполовину мелким почерком (за тридцать лет писательства он так и не привык печатать сразу на машинке), и, дальноторко шурясь, на расстоянии руки пробежал глазами текст. Статья пошла. Пошла определенно!

Удовлетворенно хмыкнув, сбросил лист на стол.

— Ну-с, юные друзья литературы, посмотрим, что вы запоете! Ужо задам вам трепку! А то, вишь ты, распоя-ясались, почувствовали волюшку, управы на вас нет!

Статья была заказана журналом, в котором Веремеев заведовал отделом публицистики уже десять лет, как отповедь «апрелевцу» Зарницкому — нахальному мальчишке из молодежной газетенки. Бывшей комсомольской областной. «Заказана» — пожалуй, не то слово, точнее — главный попросил всыпать желторотому со всей его ком-

панией по первое число. С чувством, толком, расстановкой. Так, чтоб впредь им неповадно было ввязываться в драчку с солидными журналами.

Да и кто потерпит? Была б хоть драчка-то серьезная, а то ведь курам на смех. Детские забавы. Начитались сопляки столичных газетенки, возглавляемых «прорабами». Что ни дурно, то потешно. Скопом навалились. Кусают в каждом номере, благо, газетенка не журнал, через день выходит. Авторы журнала для них сплошь графоманы, редколлегия, редакция — сборище бездарных «коммуняк» и шовинистов. «Нет звезд. Авторитетов. Поступков нет. Хара-актеров! На свалку всех. На свалку. Дорогу молодым!»

— Будет вам дорога. Торная, просторная! Всем. И нам, и вам... А вам-то уж тем более. Кому вы там нужны со своими книжками, в новом «светлом» будущем? Агитаторы реформ! Пропагандисты рынка! Борзописцы хреновы!

Обидно, что Зарницкий...

Пусть бы кто-нибудь другой накатав последнюю статью, только б не Зарницкий. Столько с ним носился! Пестовал. Печатав. Выдвигал. Подхвалявал. Когда и незаслуженно... Довел до первой книжки, в Союз помог вступить. Как же — землячок, из райцентра Ревино! Если б не помог, сидел бы до сих пор в районке, мотался б по колхозам. Один из всех газетчиков на что-то и способен, а поди ж ты — с ними. Прораб, едрена мать! Отблагодарил. Спасибо! «Зеленый свет другой литературе!..»

— Будет вам зеленый свет!

Веремеев в нетерпении бросил сигарету в наполненную пепельницу, взял шариковую ручку, к первому абзацу приписал второй. В соответствующем пасквиле писаки-оппонента полуиздательском, но выдержанном в рамках внешнего приличия тоне с блеском, мастерски нанес ошеломляющий удар двумя отточенными фразами. Нокаутировал на выходе. А цепко схваченная мысль азартно диктовала последующую серию ударов...

И тут пронзила боль. Короткая и острая, как прокол иглы.

Веремеев охнул, выпрямился, замер. Ручка выпала из пальцев, лист скользнул по полировке рабочего стола, уплыл на середину кабинета. Он затаил дыхание, со страхом ожидая повторного прокола, которого, однако, не случилось, а боль от первого горячими толчками пошла по всей груди. Он слабо выдохнул:

— Опять.

Обеими руками опершись на краешек стола, медленно поднялся, подушечками пальцев потер через рубашку грудь.

«Опять... Опять. Опять!»

Вышел в коридор, захлащенный битой штукатуркой, известью и дранью, загромаженный пыльной старой мебелью, стремянками и ведрами с растворами и красками, — ремонт на этаже длился другой месяц. Из отдела прозы через приоткрытую филенчатую дверь доносилась сбивчивая, лающая речь полковника в отставке пенсионера Рыбина, на склоне лет вообразившего себя, должно быть, Сименоном. Сименон не соглашался с внутренней рецензией на рукопись романа, с каковым таскался по редакциям уже с десятков лет. За столиком у зава сидел смешливый рыжий ответсек, держа по-женски на отлете скатанную трубочкой газету. Две девчушки из корректорской шли по коридору с чайником и чашками в руках.

— Виктор Алексеевич, за компашку с нами!

Он рассеянно кивнул в ответ на приглашение, спустился на этаж, куда ремонт покамест не дошел, остановился у окна с широким подоконником, усыпанным окурками и пеплом. Стер платком испарину со лба. Скрестив руки на груди, уставился на серый, облупленный фасад жилой пятиэтажки с отметинами сброшенных недавно панно и транспарантов...

— Боже мой, второй звонок!

...Впервые боль — короткая, прострельная — застала так же вот внезапно год тому назад на конференции в Москве, уже под самый занавес бурного собрания, после выступления, которое на пару с главным «обсасывали» ночью накануне в номере гостиницы. Охнув громко,

удивленно, рухнул на сиденье, задев локтем соседа. И тот испуганно вскочил: «Товарищи! Товарищи, человеку плохо!»

Как сквозь зыбкую дымку тумана различал вокруг себя растерянные лица, а голоса слились в сплошной, невыносимый гул. Через проход к нему метнулся чернявый бородач (позже познакомились — прозаик с Запольяря), одним движением руки ослабил узел галстука, поймал за кисть, прощупал пульс, но боль уже прошла. Веремеев улыбнулся и, бледный и подавленный, вышел в коридор...

— Пора... Пора, дружище, к эскулапам, — произнес он тихо, но решительно, как год тому назад. Он отдавал себе отчет, что значит «сдаться эскулапам». Приемы и анализы. Кардиограммы и рентгены... Суета и нервотрепка. А вдруг в стационар? Отлежка на больничной койке надолго выбьет из привычной колеи, спутает все планы, но главное — придется позабыть о предстоящем съезде, куда был делегирован своей организацией, который ожидал с мальчишеским волнением, где собирался выступить, излить всю боль, что накопилась за последний год, сказать всю правду, что не высказал. Он отдавал себе отчет, но — прозвенел звонок. Второй. И глупо было бы ждать третьего.

Веремеев повернулся и пошел наверх. В отделе прозы Сименон кричал уже на ответсека. Тот снисходительно кивал и улыбался простодушно. Избегая встречи с настырным романистом, Веремеев проскользнул в свой кабинет и запер дверь на ключ. Поднял с пола лист бумаги, сунул в боковой карман пачку сигарет. Сел и написал на четвертушке чистого листа: «Иваныч, не теряй: спрячусь в Веремеевке, спокойно доработаю статью». Записку передал в приемной секретарше — возвращение редактора из командировки ожидалось со дня на день...

Съехав в лифте вниз, направился к машине. «Пропади все пропадом — работа, съезды, конференции! Пора подумать о себе. Сдать статью и — в поликлинику... Статья пошла, недели хватит с лишком!»

2. Вторник. ПРЕЖДЕ СМЕРТИ НЕ УМРЕШЬ

Деревня съезжалась на взгорье тремя порядками пустынных обреченных улиц в кольце овсяных, с прожелтью, полей, заслоненных чистыми березовыми колками. Отсюда до райцентра Ревино, забравшего мужчин из близлежащих сел на возведение фанерокомбината еще до горбачевской заварушки, — час езды на «Москвиче», а от большака до Веремеевки он добирался вдвое дольше. С вечера рассчитывал выехать на собственной машине, но утром передумал: что если вдруг прихватит? За рулем? Не успеешь тормознуть. Выехал с вокзала рейсовым автобусом, шел теперь от остановки, подолгу отдыхая через каждые сто метров. Утром пролил дождь, проселок развезло, ноги вязли в рыхлом черноземе вперемешку с прелью прошлогодних листьев. Баул, набитый провиантом (теперь продукты приходилось брать с собой из города), отягощал попеременно его руки... Под страхом третьего «звонка» вслушивался в сердце: то казалось, оно бьется как у пойманной пичуги, то совсем не ощущалось...

Вертушка на калитке въелась намертво во влажную березовую доску с наружной стороны. Он перелез через забор, подобранным с завалинки осколком кирпича стал сбивать ее вокруг проржавленной оси — толстого гвоздя...

— Кто там шарится в потемках? — остановил знакомый голос с крыльца домика поодаль, отделенного от дедовой избы ветхим ивовым плетнем.

Веремеев обернулся. «Тетка Спиридониха!»

— Добре службу правишь, лелька! Денно-нощно бдишь?

Темная фигура застыла в напряжении.

— Виктор, ты?

— Я, лелька... Я

— Прие-ехал? — Спиридониха, не мешкая, приблизилась к плетню. — А я лежу и слышу: кто-то шебаршит. Не Сашка ли, подумала, пьяненький шарашится? Дедке говорю: выйди погляди, а дедка ухом не повел... Лежит

бревном, хоть вор ходи — он не колыхнется... А это ты. Один? Не по бруснику ли пожаловал?

— Нет, лелька. Поработать.

— А-а! Ну поработай... Дома-то все ладно? Валя не хворает? Пошто вдвоем-то не приехали?

Вертушка подалась. Веремеев сбросил на завалинку осколок кирпича, внес баул во двор.

— Не все вопросы сразу, лелька!

Спиридониха смущенно спохватилась.

— Что же в избу-то направился? Нетоплено в избе. Знала б, что приедешь, печку подтопила бы. Оно не холодно, да сыро. Дожжичек прошел. У нас переночуй, а утречком смотри... К нам бы сразу и стучался!

— Не хотелось беспокоить — время уже позднее. Ну а раз застучала, иди ставь чайник на плиту.

— Ладно, что приехал, все будет пошумней! — Растопырив локти, она довольно прытко направилась к крыльцу.

* * *

Обстановка в доме у Петруни — дяди по отцу, погибшему на фронте в первую же осень и которого, рожденный за месяц до войны, Веремеев, разумеется, не помнил, так же, впрочем, как и мать — Агафью Селиверстовну, в один из оттепельных дней зимы сорок второго ухнувшую вместе с возом сена и впряженной в сани лошадь в скрытую заносом полынью, — казалось, обстановка не менялась со дня переселения из дедовой избы. Избу построил дед Григорий еще до появления коммуны. Ее пять лет тому назад, после переезда в Моховое старшего брата, Егора, Веремеев с младшим, Александром, перебрал и поставил на фундамент. А дом в пятьдесят втором году поставил сам Петруня. Веремеев помнил: после обжитых дедовых полатей трудно привыкалось к койке в новом доме. Эта койка (без шаров на высоких спинках — он открутил их в детстве) и поныне древ-

ним экспонатом стояла слева от двери, на ней сидел Петруня и курил, облокотясь о дряблое бедро...

— Ну, здравствуй, дядя Петя! По-прежнему чадишь?

— Здравствуй, коль приехал, — бормотнул Петруня. Его ладонь была холодной и шершавой.

— Чадит, Вить... Ой, чадит! — подтвердила Спиридониха, нарезаая хлеб. — Я и курево уже прятала в сарайку, так он у Сашки наберет, под матрас напярчет и смолит втихушку...

— Бросать бы надо... Я вот бросил! — Веремеев снял пиджак и прошел к столу. «Ничего не изменилось!»

Тот же стол под облезлой клеенкой прямо против двери у окна с видом на скрытое сумерками озеро в камышовых сизых зарослях. (Первая книжка рассказов писалась за этим столом!) Та же печь с полдюжиной окурков в поддувале. В простенке между входом в горницу и глухой стеной — посудный шкаф с резными дверцами вроде бы еще дедовой работы. Домотканый половик, в углу — герань в кадучке. Тусклый свет стоватки, неистребимый запах теплого — лелькиного — хлеба. Веремеев не был здесь уже больше года. Но за год Спиридониха мало изменилась. Лишь потемнела кожа да заострился нос. Еще походка сделалась нелепой — локти отодвинуты назад, кулачки на грудях. Но — живая, расторопная. А Петруня сдал. Свесив ноги, сложа руки на колени, сидел недвижно на кровати, уставясь в одну точку. Его крупные глаза подернулись какой-то мутной влажной пленкой тоски и безысходности.

Свежий чай, заваренный вкрутую вперемешку с мятой, не взбудрил — расслабил. Сон одолевал. Сказывались, видимо, дорожная усталость и проведенная в бессоннице ночь в канун отъезда.

Облокотясь на краешек стола, Спиридониха расслабленным, теплым после чая голосом вела беседу с Веремеевым.

— Захирел наш дедка... С утра еще шевелится, как-то копошится, а к вечеру совсем никуда не гожд. Задумываться стал. Вот так, — кивнула на Петруню, — сидит себе пеньком, молчит и не сморгнет. Сидит вот и не

слышит, о чем с тобой калякаем, весь ушел в себя. Боюсь я, Витя, за него...

— В больницу бы сводить. Может, приболел?

— Не жалуется вроде... И разве он пойдет? Да и какие нам теперь больницы, развалюхам старым? Наше дело доскрипеть, три дня до смертушки осталось.

— Так уж и три дня!

— Чего бы ты хотел? Петруне восемьдесят скоро, и я ненамного отстала. Молодые, видишь, валяются снопами, а нам-то уж подавно помирать пора. Прибираться надо. Косую не обманешь. Пойдешь к врачу — догонит: а-а, скажет, развалюхи, еще не нажились, обхитрить удумали? Нет, Витя дорогой, наша песня спета. Сколь на веку написано, столь и проживем, лишку нам не надо.

Веремеев улыбнулся трогательной речью, успокоительно коснулся предплечья Спиридонихи.

— А кем написано-то, лелька?

— Будто ты не знаешь! — поджала она губы. — Тоже ить немолодой, шестой десяток разменял. — Пальцем указав на потолок, разъяснила шепотом. — У него там все расписано: кому когда родиться, кому когда прибрататься... Нет, не увернешься. Помнишь ведь дружочка своего, Гешеньку Тоболина?

— Как не помнить? Помню.

...Тихий бледный мальчик с синими губами медленно, но верно угасал после операции на сердце. Раз в год Гешкины родители — он был у них единственным ребенком — возили сына «до Москвы» на показ врачам. Деревенские мальчишки Гешку не любили. А не любили потому, как позже понял Веремеев, что одному из детворы — пусть не по доброй воле, по злой необходимости — ему подолгу доводилось жить в Москве. В столице. В белокаменной. А значит, видеть Кремль, гулять по Красной площади, ездить на метро, иметь завидные фабричные игрушки... Гешкины родители на сына денег на жалели. О Гешке он впоследствии написал рассказ. «За игрушками в Москву». И напечатал в первой книжке. Один из лучших, может быть, рассказов...

— Вот Гутюшка Крылова, цыганка моховская, — ее ты тоже должен помнить, возьми да нагадай: помрет, сказала, мальчик на двенадцатом году, помрет, сказала, на воде. Вот ему одиннадцать. Отец с матерью от Гешки ни на шаг — на озеро, на речку путь заказан, колодец на замке, бочки и кадушки — все поубирали. А он, бедняжка, играл-играл себе в оградке, да, видно, и запнулся о замок на крышке, упал и помер на колодце... Вот и на воде. Скажи, что, Гутя соврала? На веку написано! Да ты, однако, спишь?

У него действительно уже слипались веки. Он встал, развел руками.

— Засыпаю, лелька!

— Что же это я? Счас, Витя, постелю. Ложися, отдыхай... Ты, дедка, тоже засыпай, хватит сидеть столбиком. Слышишь меня, нет?

— А-ась? — сморгнул Петруня. И поглядел на Вереева бесцветными глазами.

— Никого не слышит! — вздохнула Спиридониха. Прошла в затемненную горницу, постелила на диване. Раздернув шторку на окне, долго всматривалась в ночь. — Должно бы распогодиться... Ишь вызвездило как! Тихо да спокойно. В такую ночь о жизни думать, а я заладила о смерти, нагнала тоски. Ну ее к холерам! — Из глубины ее спокойных, умиротворенных глаз неуловимо исходила теплая ирония. Не насмешливо-лукавая, а излучающая свет. Как благостный напев...

— Верно, лелька. Верно! — Вереев медленно разделся, сбросил брюки и рубашку на спинку стула в изголовье, снял с руки часы и лег. И провалился в сон.

3. Среда. МУЖИК УМИРАТЬ СОБИРАЙСЯ, А ЗЕМЕЛЬКУ ПАШИ

Утром он проснулся от хлопка двери. От порога донесли шаркающие звуки резиновых сапог, зычный голос брата Александра:

— Здорово ночевали! Как вы тут сегодня? Без потерь? Все ли по уму?

— Мы-то по уму, — съязвила Спиридониха. — По уму ли ты? Опять глазищи красные!

— Сварки нахватался! — оправдался Александр. Он прочистил горло кашлем, прошел к столу, придвинул табуретку. Острый запах солярки распространился по комнатам. — В Ревино собрался. На минутку заскочил с разрядки из конторы... Перекусить найдется?

С мая Александр обитал в пустующей квартире через дорогу от Галины, с которой состоял в разводе уже четыре месяца. Олюха — ее он привозил летом из райцентра и, сообщала Спиридониха, собирался расписаться, стреканула от него с первым же залетным торгашом-кавказцем...

— Он сварки нахватался! — заворчала Спиридониха. — Не сварки, а... угарки!

— Ладно, дай перекусить!

— Да не стоговила еще.

— А я на скору руку — похватаю да айда. Трактор за углом.

— Тише, Виктора подымешь!

— Приехал, что ли, Витька? — удивился Александр.

— Приехал. Пусть поспит.

— А чего приехал?

— Сказал, что поработать...

— Вот и пусть встает, нечего филонить! — Александр рассмеялся, полагая, что брат встанет, выйдет поздороваться. Но Веремеев не спешил соскакивать с дивана. Обычно малоразговорчивый, Александр вызвал подозрение бурным словоизвержением, что означало: либо с легкого похмелья, либо подшофе с утра. Гость в доме мог стать поводом к добавке или опохмелке. Да и было в удовольствие после длительной отлучки лежать с закрытыми глазами и отстраненно наблюдать неторопливое движение в этом старом доме, слышать голоса родных людей.

Спиридониха легонько стукнула тарелкой.

— Сядь перекуси.

Александр с набитым ртом осведомился:

— Пенсию-то выдали?

— Принесли вчера.

— А то я на мели. В Ревино сейчас, оттуда по пути в Моховое заскочу. Дровишек привезу.

— И сколь тебе на это?

— Тыщонки две-три нужно!

— Не комбинируй, Саха! — пробурчал Петруня.

Александр обиделся. Громко шмыгнув носом, встал из-за стола.

— Даром не дадут! Смотрите, дело ваше. Но чтоб потом мне без упреков. Я погнал. Пора.

— Ладно, обожди. — Спиридониха неслышно зашла в горницу, на цыпочках, взглянув на Веремеева, подошла к комоду, выдвинула ящик, отсчитала деньги и бесшумно вышла. — Держи. Да не обмани!

— Ну, ты, мать, даешь! Что я, без понятия? Все, погнал, пора! Виктору скажите, как вернусь — зайду. Батя, не тужи! — Александр вышел. Следом громыхнула со звоном пустых ведер и кастрюль на лавке сеничная дверь.

Установилось долгое молчание. Веремеев снова погрузился в дрему. А когда очнулся, было уже солнечно. Из передней долетали голоса. Он невольно вслушался.

— ...Ты б вставал, Петруня. Чего сидеть-то сиднем на постели? Шевелиться надо. Встал бы, загородку перебрал. Боров жерди изломал, все на огороде поизрыл, норья кругом поделал. Вот и бегаю за им, вот и бегаю весь день — где же мне угнаться?

— А-ась? — выходил из спячки медлительный Петруня.

— Вот тебе и «а-ась!» — сердилась Спиридониха. — Слушай что толкую. Загородку перебрать! На кого надеяться? На Гошку? Гошка далеко. А Сашка то в загуле, то в отъезде.

— Надо перебрать...

— Вот и взялся бы сегодня... Я ведь не прошу тебя погреб углубить. Скоро за картошку приниматься, а куда ссыпать? Погреб обвалился. Гошку надо звать.

— Можно Гошку, можно Саху...

— Гошку! Гошка хоть не пьет, а Сашка ненадежный.

— Гошка понадежней.

— Ну а чего сидишь? Вставай!

Непродолжительная пауза.

— ...Так за что, мать, браться?

— Опять «за что!». За загородку. На погреб Гошку позовем.

— Можно Гошку... Можно Саху.

— Дался тебе Саха! Зови хоть Саху, хоть Лексаху, хоть сам берись и делай!

Сон в ту ночь был удивительно глубок. Веремеев встал с дивана свежим и взбодренным. Сделал несколько коротких, энергичных приседаний, вслушался в ритм сердца — сердце не частило. Оделся и, причесываясь, вышел к старикам. Петруня, сидя на пороге, наматывал портянку, Спиридониха за кухонным столом чистила картошку.

— Что, лелька, время разнарядки? Правильно, командуй! Снаряди-ка и меня на эту... загородку.

— Не за тем приехал, Витя! Своих делов, поди, полно. Мы сами как-нибудь!

— Сами, потихонечку, — подтвердил Петруня.

— Моим делам конца не будет. Привязать себя к столу я всегда успею. Дай, лелька, повод сачконуть!

— Ну сачкони, если в охотку, — уступила Спиридониха. — Покуда загородку ладите, я супчику сварю да в избушке у тебя маленько приберусь.

* * *

Веремеев выпил стакан чая, переоделся в то, что предложила Спиридониха: просторные брезентовые брюки Александра и — поверх голубой безрукавки — серый, в клеточку, пиджак с Егорова плеча.

Двор с обрушенным колодцем у ветхого плетня и запрокинутым отчаянно в небо журавлем над трухлявым срубом зарос густой пастушьей сумкой, седой от утренней росы, неувядаемым пыреем. С летней «загородкой» — загоном для скота, где раньше содержались овцы и Егорова корова, а теперь дневал в одиночку грязный боров, Веремеев поначалу рассчитывал упра-

виться за час. От расшатанных столбов, наполовину утонувших в толще перегноя, отбил сломанные жерди. Лепить на прелые столбы свежие жердины, что в углу двора принялся ошкуривать Петруня, не имело смысла. Он разыскал лопату, снял пиджак. Впритык к заполненным навозной бурой жижей ямкам из-под вынутых столбов выкопал другие — полуметровой глубины. Из штабеля сухого долготья под навесом перед входом в стайку выбрал несколько березовых вершин, снял с гвоздя в стене сарая двуручную пилу, подозвал Петруню. Но пилильщик из Петруни оказался никудышным. Он выдохся уже через минуту, «лег» на пилу, и Веремееву пришлось «таскать» его до первого распила...

— Ладно, дядя, отдохни... Я как-нибудь один. Ножовкой.

Петруня подчинился, вновь принялся за жерди.

Веремеев с удовольствием отесал столбы под четверть. Отточенное лезвие легко входило в мягкое, податливое дерево. Рассовав столбы по ямкам, почти без передышки уплотнил засыпку увесистой трамбовкой, скрепил столбы жердями сначала в один ряд, затем набил второй и третий. Перед тем как сколотить легкую калитку, присел и по привычке пошарил по карманам... В нарастающей тоске по никотиновому яду отщипнул от рябинки у плетня кисть недозрелых ягод, стал жевать их по одной, смакуя прохладительную вяжущую терпкость.

Петруня между тем пристроился в сарае.

— А-ась? — приподнял он голову на шаги племянника.

— Спится, дядя Петя?

— Дремлется чего-то.

Веремеев присел сбоку на верстак.

— Ну подремли, не возбраняется... Каково живется, таково и спится. Так или не так?

Петруня приподнялся на локте, сел и закурил.

Под низким потолком висели в связках старые березовые веники, заготовленные впрок еще, наверное, Егором — любителем попариться. «С Егором бы увидетьь-

ся, — подумал Веремеев. — Наказать бы кой-чего на всякий случай. Егор — мужик серьезный, поймет, что нужно, с полуслова. Жить можно врозь, но кладбище должно быть на семью одно...».

— А ты давно ли курить бросил? — стряхнув пепел с папиросы, поинтересовался вдруг Петруня.

— А со вчерашнего утра!

— Вижу, шибко тяжко?

— Да как тебе сказать!

— Оно, конечно, отвыкать-то! — сочувственно мотнул Петруня подбородком. — А я вот все смолю. Теперь уж до победы.

— Зря. Не одобряю.

...Из-за частокола черенков лопат и вил, метел и граблей, прислоненных к стенке, из хламья в разошедшейся кадушке торчали пыльные углы необычных рамок. Веремеев встал и вытянул одну. Рамку из трехслойной крашеной фанеры с овальным вырезом внутри на истлевшем основании из куска картона украшали по углам узоры из соломки. В таких рамках под стеклом, вспомнил Веремеев, по беленым стенам дедовой избы и — поначалу — в доме у Петруни висели фотокарточки. Он рукавом стер пыль с узоров и, не отрывая от них глаз, вышел из сарая...

Удивительное дело! На письменном столе в редакционном кабинете с незапамятных времен на костяной подставке в ворохе бумаг стояла инкрустированная соломокой карандашница. Десять лет перед глазами, и никогда не обращал на узор внимания. Эта же старая рамка вдруг поразила необычным блеском соломенной орнаментовки...

В сыром тяжелом воздухе еще, казалось, плавали пылинки недавнего дождя, отсверкивая желтыми, зелеными, оранжевыми блестками. Солнце, рассеявшее облачную мглу, отражалось в мокрых листьях иван-чая, подорожника, черного паслена. Эти неожиданные блестки, искры, огненные капельки и капли — тысяча мерцающих разноцветных солнышек под ногами и над головой — дополнялись фантастическими — чудо игры света! — переливами узоров. Веремеев загляделся...

— Виктор, до тебя!

Он резко вскинул голову. На крыльце стояла Спиридониха.

— Кто там до меня?

— Вика!

— Ви-и-ика?

— Вика, Вика! Ждет тебя.

4. Среда. НА БЕЗЛЮДЬЕ И ФОМА ДВОРЯНИН

С Викой — бывшей одноклассницей, влюбчивой, смешливой толстушкой-хохотушкой в коротком белом фартуке с вечно оттопыренным кулечком монпансье маленьким кармашком, а теперь — дородной и степенной женщиной бальзаковского возраста — он последний раз встречался лет шесть, наверное, назад. Тогда все в жизни было по-другому, и на душе было покойно. Он был еще в почете и в зените славы, на гребне громкого успеха нового романа, увидевшего свет в столичном «Нашем современнике». И по просьбе Вики провел творческую встречу в ревинском ДК. Даже согласился приехать через год по выходе романа книгой. Но роман так и не вышел. Ни через год, ни через два. Теперь уже не выйдет, рухнули надежды...

«Зачем она приехала? От кого узнала, что я здесь? Никому не сообщал, что еду в Веремеевку». — Он взял под мышку рамку, направился к крыльцу.

За столом сидела Вика. В сиреневом просторном свежем платье, густые, забранные в узел на затылке волосы в свете окна отливали сиреневым оттенком, в прозрачных тонких мочках, продуманно прикрытых прядками волос, виднелось по сиреневой сердцевидной капельке... Тургеневская барышня!

Вика обернулась на хлопок двери и, увидев Веремеева в необычном облачении — в широких выпачканных брюках и мешковатом пиджаке — наигранно всплеснула полными руками.

— Чьи же вы, батюшка, прежде-то были?

Он принял правила игры. Смял Петрунину кепчонку и, сложив руки за спиной, на манер Сучка из «Льгова» деланно расшаркался.

— А Сергея Сергеича Пехтерева. По наследствию ему достались!

— Виктор Алексеич! — не сдержалась Вика и с распростертыми руками двинулась навстречу. — Дорогой ты мой! Сто лет тебя не видела! — (Она уже отвыкла с ним запросто на «ты», но и на «вы» еще не получалось.) — Встретила б на улице, точно не узнала б.

— Что, сильно постарел?

— Ничуть, но в этом пиджаке!

— Так уж и ничуть! — Посмеиваясь, он привлек ее к себе, расцеловал попеременно в обе щеки, подвел к столу, присел с ней рядом. — Рассказывай, как жизнь!

— Да что уж там рассказывать! — отмахнулась Вика. — Жизнь у нас здесь тихая, пока что не трясет. Стареем потихоньку.

— По тебе не скажешь!

— Ска-ажешь, Виктор. Скажешь! Дочку замуж выдала, последнюю сбыла... Зять покладистый достался. Муженек на пенсии, кроликов разводит. Живем, Вить, помаленьку, жаловаться грех. Цены, правда, душат, но ведь так везде... А ты? Работаете? Все пишете? Как там Валя поживает? Все у вас в порядке?

Он терпеливо отвечал: Валя все еще работает, все там же, в старой школе, завучем, здоровье, слава Богу, есть. Сам уже почти не пишет — время, Вика, непосучее, так, кое-что из старого иногда печатает. Дочь с зятем ждут второго — братику сестренку, по заказу, так что, Вика, жизнь идет, жизнь, как ни странно, продолжается...

Речь ее, отметил он, сделалась чуть медленней и взвешенней, слова произносились влажно и округло, словно камушки с морского дна выталкивались ласковой волной и ложились в ряд... Вспоминали друзей и одноклассников. Мало кто остался. Один погиб по пьяной дури, другой попал в аварию... А кто остался — где теперь?

Вовка Герк недавно в Германию уехал... Всех поразбросало. А какой был класс!

Сама же Вика, выяснилось, с библиотекой распростилась год тому назад (кому сейчас нужна культура? Да и кому была нужна?), работает в районной телестудии, примчалась в Веремеевку ради встречи с ним. О том, что он приехал, узнала от Сашуни, случайно встреченного ею утром в Ревине. Веремеев приглашался на теледиалог, в котором при ее посредстве двое «уважаемых», «известных» в Ревине людей творческого склада, желательного с полярными мнениями, взглядами, должны, как стало теперь модным, поспорить о путях, поговорить о перспективах, «выработать» истину...

Веремеев усмехнулся...

— Кто же оппонент?

— А вот это пусть пока останется секретом, — заглянув ему в глаза, попросила Вика. — Пусть это будет маленьким сюрпризом.

— Хорошо. Но почему ты пригласила именно меня?

— А кого ж еще-то? — Она едва не спрыгнула со стула, чем рассмешила Веремеева.

— Логично, — кивнул он.

— Ты — свой! — зарделась Вика. — Тебя здесь всякий знает не лично, так по книгам. Да и давно не выступал, пора бы показаться на глаза народу.

— Наро-оду? — Он иронично вскинул брови.

— Ви-иктор, ради Бога, не лови на слове! — простонала Вика. — Ты неисправим. Каким ты был просмешником, таким и остался! Пусть не народу — телезрителям!

Веремеев сменил тон:

— Вряд ли, Вика. Вряд ли. Дело в том, что я приехал на одну недельку. И не на отдых — поработать. С утра, а может быть, и с вечера засяду за работу.

— Обижусь, Виктор Алексеевич! Тебе нужна разрядка. Отдых. Вот и прокатись. Машину мы пришлем. У нас теперь свой «рафик»!

— Не обижайся, не смогу. Как-нибудь другой раз. Пойми же, срочная работа.

— Виктор, я не ожидала, — растерялась Вика. — Учти, другого раза может и не быть. Мне до пенсии чуть-

чуть, а молодежь не пригласит. У них теперь свои кумиры — богданы-титомиры!

— Знаю, понимаю. Наше дело — доживать, дописывать свое, а молодым решать, что делать с нашей писаниной... Се ля ви, Виктория!

И все же она добилась своего. Уже когда он вышел проводить ее до остановки маршрутного автобуса, вздохнула, обернулась и упреком оскорбленных карих глаз — достала.

— А может быть, договоримся? Я там пообещала, что мне ты не откажешь. В какое положение ты меня поставишь?

И он мотнул согласно небритым подбородком, неприужденно рассмеялся:

— Ладно, присылай сюда свой «рафик». Ставь в мероприятия галочку заранее!

Вика просияла, схватила его за руку.

— Да не ради, Виктор, галочки, как ты можешь думать так? Недооцениваешь, вижу, сам себя. Поверь, ты людям интересен. Как человек и как писатель. Да и как земляк ты нам не безразличен. Все же — знаменитость!

— Районного масштаба, — усмехнулся он.

— В субботу, значит. В восемнадцать! — уточнила Вика, пропустив мимо ушей его двусмысленную реплику.

Он помог ей сесть в автобус и вернулся в дом.

Петруня с верстака в сарае перебрался на кровать, повернулся с боку на бок, неподвижно устремил взор на окно. Вслушивался то ли в шелест листьев, опадавших в палисаднике с осины, скользивших по оконным стеклам, то ли в громкий ход будильника на кухонном шкафу.

Веремеев прошел в горницу. Обхватил затылок, постоял в раздумье, покачиваясь с пятки на носок, вздохнул и навзничь рухнул на диван. Нужно было идти в избу, приниматься за статью — день уже проходит, но как себя заставить сделать первый шаг?

* * *

Так уж получилось, что по настоянию неотступной Вики он примирился с обязательностью встреч. Но

встречи с земляками давались ему вовсе не легко. С самого начала.

...В тесном, душном зале бревенчатого клуба рассказывались группками приятели, родные, соседи и знакомые. От робости, смущения он опустил глаза на стол, покрытый кумачом, стал лихорадочно листать книжечку рассказов, пахнущую свежей типографской краской, и из нее посыпались лепестки закладок, вложенных с вечера в страницы, которые по ходу встречи он намеревался прочитать. Закладки упорхнули, а вместе с ними ускользнула нить беседы, и он не знал, не мог придумать, как обратиться к землякам, с чего начать, как поглядеть, куда деть руки — спасибо, выручила Вика, а то бы убежал со стыда со сцены...

И потом было не легче. Он долго ощущал смятение, неловкость, связанные с мыслью, что вот он — Витька Веремеев, не самый лучший и способный мальчуган в деревне, известный в Веремеевке, а затем и в Ревине больше как Петрунин внук, — будто он — все тот же неразумный шалопай! — сидит сейчас вот тут, на сцене, один, на расстоянии, уже на отдалении, как бы не в заслуженной или же присвоенной роли поучателя, а те, кто несравненно достойней и мудрей, чьим хлебом со стола, водою из колодца он вскормлен-вспоен, чьей лаской и вниманием выпестован, те, кто худо-бедно вбил знания в его бедовую головушку, — сидели перед ним, внимая каждому его промолвленному слову — умному и глупому, доброму и злому, доброжелательно кивали, как отвечающему робко с трудом усвоенный урок...

Сколько встреч и выступлений было на его писательском веку! Да по всей России. Да по всему Союзу! Где не побывал! На Дальнем и в Поволжье, в Прибалтике и Грузии, на Кушке и в Якутии. Сколько съездов, пленумов, различных конференций! Все и не упомнишь. Взять хоть грандиозную последнюю. Уже лет семь тому назад? Летит, однако, времечко. Семь лет — уже эпоха... Как же называлась-то? В семьдесят восьмом — «Герои пятилеток...». А эта — последняя и громкая, с благословения Мокеича (да будет земля ему пухом) называлась, пом-

нится, «Вопросы воспитания...» то ли в свете пленума, то ли в свете съезда... Что не так и важно. Многое теперь не вспомнишь без улыбки. Были времена! Сам первый секретарь бывшего обкома за голову схватился. Еще бы, тучей навалились! Весь Семиреченский обком на ноги поставили. Полписательской Москвы, братья из республик, гости из соцлагеря. Всех надо разместить, занять и ублажить. Одних писательских десантов сформировали два десятка. Транспаранты, лозунги: «Все флаги в гости к нам!», «Хлеб-соль!», «Добро пожаловать!», «Большой корабль литературы прибыл в Семиреченск!». Доклады. Выступления. Гвоздики к Ильичу. Спектакль в театре драмы. Попойки в ресторанах, кутежи в гостиницах...

Да и в заграники полетал, обижаться не на что. В Варшаву и Гавану. В Софию, Бухарест... Где-то вы теперь, Рэнер, Ласло, Дуда? Как ты там, на Кубе, Мануэль? Здоров ли, милый Ленерт? Жив ли, Догвадорж?

«Отпировали мы, отпировали!..»

Была, конечно, помпа. Была и показуха. Трескотня. Шумиха... Но было, черт возьми, другое, чего никто не вычеркнет, — был праздник духа, души. Дружбы, черт возьми, господа ниспровергатели!

Вот там, на встречах, выступлениях перед незнакомыми людьми на буровых, строительных площадках, в цехах и учреждениях он вел себя уверенней, раскованней, свободней. Ко встречам с земляками так и не привык. Да и задолго до последней — шестилетней давности — встречи в ревинском ДК сам уже не выступал, предпочитая зазывать для этой цели под разными предложениями знакомых литераторов, особенно поэтов, из тех, кто помоложе, кого, что называется, хлебом не корми — дай порисоваться с подмостков сельской сцены — здесь, благо, не столица — не осмеют, не освистают. Того же вот Зарницкого! Себе же отводил при этом роль гостеприимного хозяина да изредка давал по просьбе Вики справки — где какая книга вышла, где что напечатано, над чем сейчас работает. И в зале собирались совсем другие люди: сыновья и внуки тех, с кем рос, озорничал, кого прекрасно помнил. Подолгу всматривался в лица,

стараясь угадать по разным внешним признакам — бровям и шевелюрам, улыбкам и глазам, жестам и походкам — принадлежность к роду-племени. Он понимал, что приходили многие не столько ради интереса к его творчеству, сколько из простого любопытства к имени. Ведь осознание того, что он — прозаик, публицист, бессменный секретарь правления Союза, член многочисленных комиссий, обществ, редколлегий, кавалер, лауреат — плоть от плоти ихний, местный, веремеевский — льстило самолюбию. Что известную в районе бабку Спиридониху, заменившую ему с малолетства мать, принародно, не стесняясь, как издревле принято в деревне, называет лелькой, — вызывало уважение и, наверное, доверие. И потому он мог поклясться, что половина зала, не читавшая его романов и статей — эта половина любому оскорбившему его ложным обвинением или незаслуженным упреком ответит грозным кличем: «Наших бьют!»

5. Среда. ТОЛКУЙ, БОЛЬНОЙ, С ПОДЛЕКАРЕМ

К вечеру он все же перешел в свою избу.

У стены, где раньше, еще при жизни деда, стоял комод ручной работы, покрытый белой бабушкиной скатертью с вышивкой царевны Лебеди из сказки о царе Салтане, теперь располагался письменный выщербленный стол. Резная этажерка на колесиках (Сашкина конструкция) со стопкой книг на полке, настенный книжный шкафчик с давнишними комплектами так и не прочитанных как следует журналов (в текучке оставлялось на «потом», свозилось в Веремеевку из городской квартиры), диван и радиоприемник — все было на местах. Валентина с дочерью приезжали в мае. Побелили стены, печку, забили окна ставнями, но, увы, неплотно — понабилось пыли в щели и пазы. И крыша протекла — углы под потолком желтели свежими подтеками. И хоть Спиридониха вымыла полы и подтопила печку — еще плита дышала жаром и на краю пыхтел пузатый медный чайник, — в нежилой избе все же было сумрачно, сыро, неудобно.

Веремеев выложил вещи из баула, задернул шторку на окне. Надел спортивное трико, меховые тапочки — подарок друга-литератора из заполярного поселка. Разместил бумагу, рукопись и папку с подборкой статей из агрессивной молодежи, с которой предстояло продолжить жесткий спор — да и не спор, какой там спор! — а отмести все обвинения и осмеять, натывать носом, как шкодливого котенка в загаженное место, их жоака Зарницкого. С кем там полемизировать! Важно довести себя до точки закипания, выплеснуться разом, а затем, остывнув, пройти карандашом по горячим строчкам, сверить с разумом эмоции и — сдавай статью...

Он встал, засыпал в чашку кофе, залил кипятком. Включил приемник в сеть. Бодрый голос диктора сквозь слабый треск эфира сообщил о митинге сторонников правительства, о боях в Абхазии, о зреющей шахтерской забастовке. Но бодрый голос диктора, как и бедлам в свихнувшейся стране, показались Веремееву настолько отдаленными в пространстве и во времени, настолько неуместными в предвечерний час в дедовой избе, что он тотчас выхватил из розетки шнур, снова сел за стол, машинально хлопнул по карманам... Отпил кофе, придвинул лист бумаги.

— Нуте-с, юные друзья!..

Дверь внезапно распахнулась, и в проеме возник брат. Александр. Сашуня...

— Гутен морген, сочинитель!

Веремеев приподнялся.

— Здорово, баламут!

Александр был «под мухой». В промазученной насквозь темно-синей робе с неистребимым запахом солярки, жилистый, костистый, с вечным бронзовым загаром на сухом лице, в свои сорок с гаком он выглядел уже не ясным соколом, а скорее подуставшим деревенским бодрячком. Оставляя на полу мокрые следы, прошел к столу, взял в горячую ладонь руку Веремеева, тряхнул и из-за пояса вытащил бутылку. Установил ее на стол.

— Я не помешал? Может, не ко времени? Ты со мной не церемонься, если не ко времени, пошли меня подаль-

ше — по-братски не обижусь, потому что я сегодня датый.

— Садись. Не помешал. — Он и впрямь поймал себя на мысли, что обрадовался поводу отложить работу. Пока разогревал на плите тушенку и разрезал батон, Александр разулся у порога и, сидя на диване, пролистывал книгу с этажерки, многословно объясняясь:

— Ты, братка, извиняй, что я сегодня датый... День сегодня сумасшедший. Где не побывал! В Ревино скатал... Вика заезжала?

— Заезжала, заезжала...

— Я ее направил! Дал координаты... Навел, как говорится. Ты не возражаешь? В Моховое зарулил. От Егора, брат, привет, в обиде, что не кажешься. Заедь к нему хоть на денек... Попутно бабке Ерофеихе тележку дров завез... Добавил в мастерской. Там главного механика сегодня обмывали. Свежего поставили. Ну и растрясли, понятно, на обмывку — у нас закон такой. Вместе ведь работать. Мужики остались, а я, брат, к тебе. Как не показаться, правду говорю? — Он закурил, и дым от папиросы разошелся по избе.

Веремеев сморщился.

— Ты бы воздержался.

— Что так?

— Бросил. Вторые сутки мучаюсь...

— А ты закури, и конец мучениям. Все в этой жизни просто, не надо усложнять. Вот я не усложняю... — Александр рассмеялся и захлопнул книгу. — А чего приехал? Поработать, что ли? Вот лафа, ей-богу! Захотел — работай, захотел — филонь. Кабы нам так, а?

— Не завидуй, Сашка.

— Нет, я понимаю, я просто так шучу. В вашем деле, брат, нужна особая солярка. Это не движок — завел да и поехал. Ответственность великая. Тебя, к примеру, взять. Ты глупость не напишешь. Ты все про жизнь. В науку, в назидание! Так я говорю? О жизни писать — ее понюхать надо.

Веремеев обернулся.

— А скажи мне, только честно, ты все мои романы прочитал?

— Честно?

— Честно.

— Нет. Не все. Но ты не обижайся, когда нам тут читать? Вертишься, как белка... У нас тут тракторов-то — мой да Сашки Веремеева. Но тебя я знаю: ты глупость не напишешь, потому что нюхал жизнь. А иной такое пона-сочиняет — в голове сумбур и на сердце тошно. Да все во вред, во вред!

— А что, по-твоему, во вред?

— А то не понимаешь! Мне, что ль тебя учить? Стихи вот вредные бывают... Послушаешь одни — и, вроде, стопку опрокинул, хоть с песней по жизни ударь. То — полезные стихи, тут спору быть не может. А есть — слушаешь и — тошно, и — места не находишь. Как вот у Зарницкого, который кляузы в газетах на тебя строчит, грязью поливает. Газету мы читаем, знаем. Земляк, едрена вошь!

— Любопытно, любопытно! — остановился Веремеев.

— Еще б не любопытно! Помнишь, скопом в Веремеевку приезжал ваш брат-писатель? Тогда и ты был с ними. Лет семь тому назад? В тот год я на Гальке женился. А в аккурат курить бросал, как вот сейчас ты. Галина привязалась: пойдём, Сашуня, да пойдём, посмотрим на людей, может, отвлечешься. Пришли, а там читают. Читали часа два. Все бы хорошо, да вышел твой... Зарницкий. Давай свое читать. И все вроде ладно, складно, слова по-русски произносит, о чем — не понимаю, но душу, сволочь, вывернул. Наизнанку вывернул! Как вроде по больному месту втихаря царапает... Такое, братка, нака-тило, прямо волком вой! Смертная тоска. Не стерпел, поднялся. Галька: «Ты куда?» Я: «Да на минутку». Вышел, стрельнул закурить... Еле успокоился. Вот тебе стихи! Скажи, едрена вошь, не вредные! До этого неделю не курил!

— Вредные, конечно, — кивнул согласно Веремеев. — Еще какие вредные!

Он выставил закуску, разлил водку по стаканам, пригласил к столу. Выпили за встречу.

— За избу не тревожься, — успокоил Александр. — Мать за ней следит. Когда плиту протопит, когда полы

помоет. Она по этой части нечего сказать — любит чистоту. Когда и я переночую...

— Оно и видно, что ночуешь. Хоть бы тару прибирал, подпол весь забил бутылками. Как трюм.

— Сдам, не беспокойся. В сельпо ящики появятся, отнесу и сдам. Очищу помещение... Дали, что ли, по второй?

«Дали» по второй. Александр, отметил Веремеев, водку пил как воду, без закуски, не хмелея. Зато курил он беспрестанно, обволакивая дымом себя и Веремеева.

После третьей Веремеев произнес мечтательно:

— Жаль, Гошки нет, а то б с ним спели!

— Гошка подтянул бы, — поддакнул Александр, — Гошка у нас песельник!

Бутылка опустела, и в разговоре вышел сбой.

— Слушай, — обратился Веремеев к брату. — Что у нас с отцом? Он давно такой?

— Какой?

— Разве сам не видишь? Квелый. Сидит весь день молчком. Спит или сидит. Как бы не в себе. Не нравится мне это.

Александр приподнял за горлышко бутылку, рассмотрел ее на свет, щелкнул пальцем по зеленой этикетке.

— Вода. Голимая вода. Химичат коммерсанты! — поставил бутылку под стол и взглянул на Веремеева. — А что отцу? Сиди. Все дела поделаны, и слова все сказаны. То хоть соломкой занимался, время убивал, а теперь куда с соломкой? Глазами ослабел. Сиди себе и думай. Есть, поди, о чем подумать. Тоже ведь не ангел, всякое бывало, плохое и хорошее... И выпить мог, погреховодничать... с бабкой Ерофеихой. Все мы греховодники. О душе не думаем до поры до времени...

— В больницу бы сводить, вдруг хворь какая привязалась? Точит старика...

— Кому он нужен в той больнице? Восемьдесят лет! Там на него и не посмотрят... Мать как-то вызвала врачиху. Пришла, давление измерила, послушала, и все... Все, говорит, в порядке, не беспокойтесь понапрасну.

— Как это — не посмотрят? — вспыхнул Веремеев. — Как это — кому он нужен? Живой ведь человек! А если

ему... плохо? Если плохо человеку? Вы что, с ума здесь походили? Списали старика? Как вещь, которой вышел срок? Как хлам какой-нибудь? Как это у вас просто! Ну, деятели, а! И лелька тоже: не пойдет! Да я и спрашивать не стану. В субботу отвезу. Спеленаю, как ребенка, и в машину. В районную больницу! И пусть мне только скажут... «Все в порядке!»

— С чего ты, братка, вскипятился? — рассмеялся Александр. — Гляди, какой горячий. Разве я добра бате не желаю? Да я двумя руками «за». Но не поедет он в больницу. Не поедет, знаю. Не надо его трогать. Не надо усложнять! Дома стены помогают... Давай лучше добавим! Я знаю тут местечко, в минуту обернусь...

— Никакой добавки! — отрезал Веремеев. — Хватит, Саша. Посидели. Мне еще работать. И тебе остепениться не мешало б. Дома дел невпроворот: погреб обвалился, загон в назьме попрел — тебе и горя мало. Недосуг заняться?

— С чего ты, братка, рассерчал?

— Я тоже гусь хороший! Сижу вот, распиваю тут с тобой бутылку, и невдомек, что водка-то на деньги, что утром ты у матери выманил обманом. Так или не так? Дрова ей обещал, а сплавил бабке Ерофеихе? Я спрашиваю: так?

— Привезу и старикам, без дров не оставлял.

— Докатился, Сашка! Как тебе не совестно у матери на водку вымогать! На пенсию позарился! Вот тебе три тысячи, зайди сейчас же к старикам и верни им деньги. Утром я проверю! — Веремеев рывком сдернул пиджак со спинки стула, вывернул карманы...

— Потолковали, называется! — Александр прошел к порогу и, присев, обулся. Бросил, уходя: — А деньги свои спрячь, добрая душа. В семейной бухгалтерии мы сами разберемся.

6. Четверг. ЕРЕМА, ЕРЕМА, СИДЕЛ БЫ ТЫ ДОМА, ТОЧИЛ БЫ СВОИ ВЕРЕТЕНА

«С чего я, в самом деле, набросился на Сашку? — недоумевал утром Веремеев. — В конце концов, пришел

как к брату, пусть нетрезвый, но по-человечески. Можно было с ним помягче. С чего так распалился?»

Он упрекал себя за неожиданную, необъяснимую запальчивость, но на душе было легко... Необычно мягким, нежным, теплым светом освещалась комната. Совершалось чудо! Петрунины узоры на фанерной рамке играли тысячью оттенками неземных цветов, расцветивая стены, печку, потолок... Высвечивая вспышками из памяти милые картинки незабываемого детства...

* * *

Август. Утро. Воскресенье. Петруня окликает: «Витька, Гошка! Кто со мной сегодня на поля? — «За солнышком на зиму?» — «За солнышком. Пора!» — «Я!» Он и — следом Гошка, отодвинув миски и отбросив ложки, стремглав из-за стола, одеваться-обуваться наперегонки. Лелька недовольна: «Витька! Гошка! Не ходите, ну его к холерам со всякими придумками!» Не отговорить! С дядей! На поля! Березовая роща... Солнышко... Луга... Силеневые шапки цветов тысячелистника... Облетающие метлы желтого вербейника... Ромашковое море... Бурый чернобыльник... Акварельная синь неба... Позолота слепого овсяного поля... Густой янтарь высокой ржи... И — возвращение домой с охапками соломы... Лелька на пороге: «Мякины да половы мне только не хватало!» Петруня, улыбаясь: «Для тебя — солома, для нас — солнышко в соломе! Верно, Витька, говорю?» — «Верно, дядя. Верно!»

* * *

...Зимний поздний вечер. Керосиновая лампа. Он отсекает острым косяком от соломенной полоски одинаковые ромбики для выклейки узора. Глянцевая пленка на соломке трескается под нажимом лезвия, отслаивается мелкими чешуйками, края обреза мнутся, рвутся. От досады он бросает нож. В закопченной лампе трепещет

язычок синего огня. «У меня не получается!» — канючит со слезами на глазах. «Подумаешь, беда — не получается у нас! — гудит в ответ Петруня. — Давай заплачем оба. А лелька поглядит, как мы в рев ударимся. Вот будет хорошо! — Он откладывает рамку, на которой рейсмусом размечает линии очередной орнаментовки. Подходит. — Что там у тебя? Крошится соломка? Как ей не крошиться! Ты ее мочил? Вот тебе и «не-ет!». А для чего водичка в банке? Ну-ко, подвигайся, гляди во все глаза! — Из вороха соломин Петруня собирает по пучку зеленых, янтарных, золотистых... — Тут, Витя, надо понимать, на что которая годится. Глазами понимать. Зеленая — молочная, мягонькая, нежная. Куда ее такую? А линии выклеивай янтарной. Янтарная — осенняя, солнцем прокаленная, прочная, как бронза. Не каждая соломина солнышко хранит. Вот видишь — золотистая? Веселая, здоровая — просится в узор. Ее мы и возьмем. Но прежде построгаем... Как ей не крошиться, когда с изнанки мякоть ломит! — Он кладет соломину пленкой вниз, соскабливает белый рыхлый слой — полоска распрямляется, пружинит. — Вот и отсекай. Держи косяк уверенней. Да не пили соломину, секи ее порезче! Как лелька крошит лук! Смелей, смелей! Вот так, вот так! А говоришь, не получается!» Лелька решительно встает и задувает лампу: «Завтра насидишься, полуночник! А сейчас — марш спать. Надсадишь вот глаза-то с малых лет!» — «Еще хоть пять минуток!» — «Никаких минуток, лезь давай на печь!» Лельку не упросишь. Он забирается на печь, смыкает плотно веки, но перед глазами играют переливами Петрунины узоры...

* * *

Чайник закипел. Кипяток из-под брякнувшей крышки плеснулся на плиту. Веремеев сделал кофе и присел к столу. «Пора, в конце концов, приступить к работе!» Поднес к глазам тетрадный лист с двумя начальными абзацами, перечитал, но взятый тон не показался остроумным. Скорей, наоборот: а-ля Козьма Прутков во гневе.

Он попробовал собраться, сосредоточить мысли на статье. Обхватив руками голову, растопыренными пальцами с нажимом «въехал» с висков в волосы... Но при виде вырезок статей и реплик оппонента, с которым предстояло сойтись в заочном споре и пригвоздить к позорному столбу — чем хлестче и безжалостней, тем лучше, — испытывал сомнения и страх... Лень и отвращение к писанию, к преодолению себя ради перехода из состояния апатии к столь необходимому в работе состоянию горения.

Встал и заходил. От стола к порогу. Семь шагов туда, семь шагов обратно... Потеряв счет шагам, плюхнулся на диван, взял с этажерки первый подвернувшийся под руку журнал. Задержал взгляд на фамилии «обещающего» автора из когорты, как он понял по строению самых первых фраз, пресловутых постмодернистов и их холодным, мертвым стилем и прущим без удержу изо всех щелей омерзительным цинизмом. Прочел кусок из первой главки, в которой рисовался эпизод совокупления героя с героиней, заглянул в концовку со сноской «Окончание в следующем номере». В концовке утомленный, издерганный герой, лежа после первого голодного наскока в объятиях другой, не менее, чем первая, измученной «совокупностью» страдальцей, готовился к повторному любовному броску...

Веремеев сморщился, зашвырнул журнал. Встал и снова заходил. Но взгляд скользнул по рамке. Рамка отвлекала. «Убрать бы ее с глаз!»

Но перед тем, как спрятать в шкаф, еще раз пристально всмотрелся в соломенный узор, как бы надеясь разгадать секрет свечения.

* * *

...Петруня, как и дед Григорий, был, без сомнения, художником. Дед был плотником от Бога. На фотографии в альбоме он молод и красив. Чубат и пышноус. Надменный взгляд из-под бровей, губы плотно сжаты. Сидит, закинув ногу на ногу, в сапогах в гармошку, на высоком стуле с оплетенной спинкой, откинув прямо

голову. «Лелька, это кто?» — поинтересовался Веремеев как-то в детстве. «Это дед твой, Витя... Григорий Епифаных. Да ты его не помнишь!» — «Нет, помню, лелька... Руки». Он помнил руки деда: с натянутыми жилами, окостеневшими суставами под темной и сухой, как пергамент, кожей, с двумя багровыми фалангами на месте — безымянного и мизинца — пальцев левой, изувеченной осколком негнущейся руки, поглаживавшей нежно его по волосам...

Свезти бы дедовы постройки да со всей округи — получится деревня. Да еще какая! Солнечная, светлая! Веселые наличники, причудливые ставенки, жестяные петушки на тесовых кровлях! Веремеевские зодчие гремели по району, но тем дед и выделялся изо всей артели, что в эти «безделушки» вкладывал всю душу...

Если дед Григорий нашел радость в деревне, то Петруня — в солнечной сололке... Но как художника его «сломала» лелька. Она не в пример мужу была женщиной практичной. Умела снять зубную боль, остановить кровотечение, лечила от испуга и от заикания. Знала заговоры, травы и коренья... В войну, со смертью дряхлой повивальной бабки, неожиданно для многих стала повиитушничать, да весьма успешно, как теперь сказали бы: ее услуги пользовались спросом. И, надо полагать, одачивались щедро — одних платков и шалей запас не иссякал...

В детстве Веремеев пробуждался иногда от дребезжания стекол в двойных рамах, кашля, шарканья шагов, вслушивался с печи в придушенный шепот вошедших незнакомых мужиков в подпоясанных тулупах, с заиндевевшими ресницами, бровями и усами. Лелька зажигала керосиновую лампу и раздувала самовар. Приезжие сбрасывали на пол шапки и тулупы, пили чай, сопя и отдуваясь. После чаепития надевала привозной тулуп, набрасывала шаль, обувала валенки. Уезжала в ночь. В соседнее село. К очередной роженице...

Петрунину привязанность к сололке она не поощряла. «Баловство все это», — была ее оценка. И походя в запале сметала с лавки снопики соломы, которую Петруня при тусклом свете лампы зимними ночами «стро-

гал» и расщеплял. В избе, затем и в доме, места для соломы всегда недоставало. Снопки висели в связках на гвоздях по стенам и под балкой...

Но однажды (после выхода своей, по счету третьей, книжки), приехав ненадолго к старикам, Веремеев стал свидетелем невиданного ранее Петруниного гнева. Петруня, от которого никто и никогда не слышал даже окрика, не то что бы ругательства, грозя и топоча, красный и взъерошенный, безобразный в гневе, честил Спиридонику последними словами. Сгребал с печи и лавки, срывал со стен и балки снопки соломы и отправлял их в печь. С плотоядным гулом огонь безжалостно пожирал солому. Спиридонику в испуге отступала к горнице... Как прояснилось позже, она, резонно полагавшая, что всякая вещица имеет свою стоимость, стала потихоньку, скрытно от Петруни, приторговывать его шкатулками и рамками...

* * *

Веремеев убрал рамку, снова заходил, будто заведенный. От стола к порогу... Семь шагов туда, семь шагов обратно. «Петруня... Спиридонику... Узор... Соломка... Рамка! Что-то все перемешалось! Думай о статье! Хочется не хочется, а нужно ее сделать!».

Но о статье не думалось...

— ...Все мечется, все мечется! Чего ты усходишься? Как кот кругами возле сала. Сходил бы, подышал. Погодка разгулялась — в дом бы не входила!

Веремеев не услышал, когда явилась Спиридонику. Растопырив локти и деловито озираясь, будто проверяла — все ли здесь в порядке? — подошла к столу.

— Работа, лелька, не идет... Не идет, зараза!

— А где ж она пойдет, когда полдня голодный? На одном чаю-то? — кивнула на стакан с недопитым кофе. — Пойдем, я супу наварила.

— Спасибо, я перекусил.

— Чего перекусил? Чего там всухомятку? Пойдем, поешь горячего, а на пустой желудок голове досадно.

— Хорошо, уговорила... Иди, я подойду. Вот только приберу на столе бумаги.

— Давно бы так! С утра не евши... В окошко погляжу — все мечется и мечется. Да ладно ли с ним, думаю? И Сашки где-то нет... Сашка молодец! Тот не поевши на работу не подумает.

...Вечером, укладываясь спать так и не дотронувшись до начатой статьи, рассматривая мысленно узор на фанерной рамке, Веремеев вдруг подумал, что, окружив себя в обыденной литературной жизни людьми порядочными, честными, но, как ни поверни, свернувшими в политику от подлинного творчества, посвятив себя служению идее, подчинив талант, каков он ни на есть, работе на идею, — не изменил ли он предназначению? И знал ли он его когда-нибудь? Знал ли? Понимал ли?

Как знать, как знать...

Ведь ни в благоразумной зрелости, когда писались пухлые романы, ни в возрасте Христовом, когда вынашивались первые новеллы и рассказы, ни даже в юности беспечной, когда легко, свободно ложились на бумагу пылкие стихи, не испытывал он радости, сравнимой с той, далекой — детской, но до сих пор волнующей, когда рукой нетвердой, ведомой дядиной ручищей, слагались из соломки первые узоры...

7. Пятница. СВОЙ СВОЕМУ ПОНЕВОЛЕ БРАТ

Едва успел он пробежать глазами текст неожиданной телеграммы: «НАПОМИНАЮ ВСТРЕЧА ЗАВТРА МАШИНУ ПОДАДИМ НЕ ПОДВЕДИ НАДЕЮСЬ ВИКА», как в сенцах звякнула шеколда. В избу зашла, точнее, кое-как порог переступила — Спиридониха. В Петруниной фуфайке, руки на груди кулачками в подбородок...

— Ой, Витя, горюшко у нас... Ой, горюшко какое! Никак беда сторонкой не обходит!

В предчувствии недоброго он кинулся навстречу.

— С дядей плохо, да?

— Не с дядей, а с дитятей... Сашка, паразит, опять набедокурил! Без горя не живем!

— Да объясни же толком, что случилось?

— Тюрьмы себе заробил, окаянный!

...Из бестолкового рассказа Спиридонихи, прерываемого всхлипами и вздохами, Веремеев все же уяснил, что от него позавчера Александр зашел к бабке Ерофеихе, которой накануне завез тележку дров. Та рассчиталась с благодетелем веремеевской «валютой» — банкой первача. Окрыленный Александр от «валютчицы» помчался в мастерскую, где оставались мужики «обмывать» механика. Мужиков он не застал, но, как сознался сторож, выпил с ним полбанки, остатки слил в бутылку, заткнул и за полночь пошел на «именины». Вспомнил на беду, что у Галины день рождения. Спьяну и в потемках не усмотрел замка на двери и не догадался, что бывшая жена в гостях у стариков на краю деревни. Дверь не открывалась, и Александр заподозрил, что Галина затаилась. Через окно проник в квартиру, но, не обнаружив там хозяйки, решил ее дожидаться. Во что бы то ни стало. То ли для того, чтобы поздравить, то ли чтобы выведать, где она была. Включил магнитофон и под звуки музыки в одиночку за ночь осушил бутылку. Утомленный ожиданием, к рассвету задремал. Утром по дороге на работу, увидев в окнах свет, Галина оробела, прихватила депутата Пашку Вэ-Пэ-Ша (Павла Филимоныча) и с ним зашла в квартиру. То, что там увидела, повергло ее в ярость: включенный в сеть магнитофон, порожняя бутылка, банка, полная окурков, табачный смрад и... бывший муж. В промазученной спецовке лежал, всхрапывая, навзничь на ее запроваленной, безупречной чистоты и свежести постели. Она пыталась его растормошить, стащить с кровати за ноги, сгоряча драла за лохмы. По подсказке депутата бросила за ворот бывшему супругу кусочек льда из холодильника. Александр заворочался и продрал глаза. Галина, пользуясь поддержкой присутствующей власти, дала ему затрещину. Он неожиданно вскочил. Она вовремя отпрыгнула, но депутат попался в лапы разъяренного медведя и в одну секунду был с позором вышвырнут с крыльца...

Расправившись с беспомощной деревенской властью, он распластался на полу и снова захрапел. Оскорбленный депутат, а за ним Галина побежали в сельсовет, к участковому Тюльпанову. Часом позже участковый, депутат и на подмогу вызванный неразговорчивый механик, «обмытый» накануне, во главе с Галиной выехали к месту преступления... Пашка Вэ-Пэ-Ша, на собственных боках испытавший крепость Александровых ручищ, заскочил домой за сетью. Замысел раскрыл перед началом операции. К спящему «преступнику» он должен был пройти один, а участковый и механик спрятаться за дверь. Как только разъяренный спросонок Александр кинется за Пашкой, а тот метнется в дверь, участковый и механик набросят на преследователя сеть. Так и поступили. Александра обмотали, обвязали сетью с ног до головы и погрузили в «газик». Выгрузили в бывшем Красном уголке напротив кабинета участкового и разрешили отоспаться на раздвижном столе. Затем Галина с депутатом написали заявление и подмахнули протоколы...

— Сделай, Витя, что-нибудь, помоги оболтусу! Засадит его Гальяк! Засадит: к бабке не ходи, на картах не раскладывай! — убивалась Спиридониха. — Сейчас только от ней... Говорю: прости его, ведь не со злом же он зашел, спьяну-то чего не начудит? Нет, заладила одно — поучу маленько. Да и Пашка Вэ-Пэ-Ша озлился на него... Сходил бы до Тюльпанова, все ж таки товарищши!

— И поделом, если посадят! — воскликнул Веремев. — Не семнадцать лет балбесу, должен понимать. — Но начал одеваться. — Где, лелька, он сейчас?

— Сашка? В мастерской. Покамест отпустили.

— Ну, братец, доконал, возьмусь я за тебя!

* * *

Дверь в кабинет участкового в конце сельсоветского коридора была притворенной. Сержант Сергей Тюльпанов, в мятой, неопрятной форме, сидел за щербатым столом в прокуренной сумрачной комнате, подперев щеку рукой, устремив взор на окно.

— Разрешите? — подал голос Веремеев.

— Разрешаю, разрешаю, — уныло отозвался участковый, не отводя глаз от окна. На замутненных стеклах в раме копошились крупные, как оводы, комнатные мухи.

— Не по уставу принимаешь! — бросил Веремеев, проходя к столу.

Тюльпанов нехотя привстал и подал руку.

— А по уставу это как? Рассыпаться в любезностях? Предложить чашку кофе? Кофе здесь не подают. Кофе — в телесериалах. Вот если сигаретку... Угости!

— Увы, Сережа, бросил!

— Жаль. Свои кончились давно, а идти не хочется.

— Видок сегодня у тебя! Что за меланхолия? — Веремеев сел.

— А-а, Виктор, надоело! Обрыдло, знал бы как!

— Что тебе обрыдло?

— А все... На что ни погляжу. Подаю, однако, рапорт. Уволюсь. Перееду. В гости к тебе буду заходить.

— Везде теперь не сладко.

— Так-то оно так, да все же, может, повесельше... Ладно, ближе к делу. — Он придвинулся к столу и развязал тесемки на одной из папок. — Вовремя приехал — Сашуня зачудил. Протоколы показать?

— Не надо, я все знаю.

— Давай решай, что делать... Спустить на тормозах я больше не смогу, придется заявлениям дать ход. Сколько, Виктор, можно? В июне учудил. С пьяных глаз на тракторе въехал прямо в баню. Бабы с перепугу голышом на улицу. Ладно, что не подавил... Да и Пашка не отстанет, дойдет до прокурора. Мне же и по шапке. Понимаешь, да? Вот что он в ней нашел, в заполошной этой? Ведь выгнала его — снова туда тянет. Так туда и тянет! Я его предупреждал: пожалуется Галька еще раз — упеку. Там, собственно, и дело... Пародия, не дело. И смех и грех, ей-Богу, но годик-полтора может схлопотать, шуточки плохие. Сходи, поговори. С Галькой, с депутатом... Простят — простят, а нет, так — нет... Денек-другой повременю...

— Его, Сергей, не жалко, пора бы поучить! Жалко стариков. Они с ума сойдут.

— То-то и оно, каб он понимал! Может, полечить его? Оставить так — он плохо кончит. Жалко человека.

— Согласен. Что-то надо делать...

От Тюльпанова пошел к Пашке Вэ-Пэ-Ша. Все трое были одногодками, но если с Тюлей (участковым) в детстве были в дружбе, то с Пашкой мир не брал.

Нынешнее прозвище просилось к Пашке смолоду. Прислал из армии письмо своей тогдашней суженой, нынешней супруге Доре Тимофеевне. Туманно намекал, что по строжайшему отбору попал в какую-то особо засекреченную часть, на конверте обозначенную кратко ВШП, что начались полеты и прыжки (Дора догадалась: с парашютом!). Предупреждал заранее, что не имеет времени писать ей часто и помногу. Загордившись суженым, отобранным в «секретчики», Дора обежала всех подруг и родичей. Письмом заинтересовался ее смешливый дед, школьный повар Трифон. Повертев в руках конверт, ехидно ухмыльнулся: «Ты, Дорка, фотку попроси у своего «секретчика». На ВПК, при полной форме, с разводягой». — «А что такое — ВПК?» — «То же, что и разводяга — секретное оружие!» Дорка написала, попросила фотку. Пашка не ответил. Не отвечал, пока однажды не приехал в отпуск. К тому времени у деда Дорка выведала, что ее «секретчик» учится в военной школе поваров, а ВПК — не что иное, как военно-полевая кухня, и разводягой в армии называют поварешку. Словом, оконфузился... Над незадачливым «секретчиком» в деревне подтрунили, но прочно прозвище за ним с незначительной поправкой закрепилось позже, когда Пашка — Павел Филимоныч, окончивший заочно ветеринарный техникум и вступивший в партию, по направлению парткома уехал в... ВПШ и воротился в Веремеевку по прошествии двух лет в должности парторга. Вот когда всплыла из памяти давнишняя история с загадочным письмом. И хоть знали в Веремеевке, что ВШП имеет к ВПШ такое же примерно отношение, как ши к марксизму-ленинизму, Пашка Рябов стал отныне Пашкой Вэ-Пэ-Ша...

Он встретил Веремеева в прихожей.

— О-о, кого я вижу! Классик Виктор Веремеев собственной персоной! Понимаю, понимаю: «чем живет рос-

сийская глубинка?» В кои веки заглянул к старинному приятелю! Неспроста, чать. Неспроста-а! — В серой, плотно облежавшей отнюдь не богатырскую, но выпяченную грудь фланелевой рубашке, заправленной под модные простроченные варенки, он с напускным радушием на желтом, изможденном, но гладко выбритом лице тряхнул руку Веремеева. — Прошу, прошу в мой кабинет!

В бывшей детской комнате на месте двух кроваток стоял двухтумбовый стол. На стене перед глазами висел цветной предвыборный плакат президента Ельцина с победно вскинутой рукой. Угол справа занимал остекленный шкаф, слева — телевизор на подставке.

— Прошу! — Пашка Вэ-Пэ-Ша из-за открытой двери выкатил уютное, под синей плюшевой накидкой, низенькое кресло.

Веремеев не сдержался от иронии:

— Да ты и в самом деле государственный мужик!

— Трудимся на благо, приходится оправдывать доверие! — засмеялся Пашка. Две глубокие морщины от крыльцев узенького носа к подбородку очертили скобами его крупный рот с блестящим верхним рядом золотых зубов. — Жалко, Доры дома нет, а то бы сели, посидели... Угостить-то нечем. Разве что по маленькой?

— Нет, Павел, не могу, как-нибудь в другой раз. Сегодня не до маленькой.

— Понимаю, понимаю! — Пашка боком прислонился к краешку стола, подогнул колено.

— Ну а если понимаешь, порви у Тюли заявление! — бухнул Веремеев. — Не враг же тебе Сашка!

Депутат взглянул на гостя исподлобья. Поперечные бороздки на бледном лбу над переносицей сбежались в букву «Н».

— Как это понимать? Что же получается, дорогой ты наш писатель? — разочарованно вздохнув, придвинул стул, присел напротив. — Давай порассуждаем. Ведь вы же все — как избиратели и как просто граждане — совершенно справедливо... справедливо, Виктор! — требуете навести порядок, так? Думаю, что так. Не ты ли, Виктор Веремеев, любимый наш писатель, в своих послед-

них публицистиках в газетах и журналах — а мне как депутату районного Совета приходится следить за раз-аз-ной информацией! — не ты ли, дорогой наш, упрекаешь власти в разгуле бандитизма и преступности?!

— Возьми тоном ниже, Павел! «Бандити-изм!», «Преступность!». Не перегибай. Пьяный дуралей забрался в старую квартиру и улегся спать... Да, набезобразничал. Да, набедокурил. Надо наказать. Но ведь не садить его за это? Можно без суда?

— Можно, но — нельзя! — вспыхнул депутат. — В ночное время пьяный безобразник врывается в жилище незамужней женщины! Кто знает, с какой целью? А мы его слегка журим и с Богом отпускаем, так? Так дело не пойдет!

— Да не чужие они, Павел. В этом все и дело!

— А вот это спорно... То есть, я хочу сказать — для меня бесспорно. Насколько мне известно, брак между Сашкой и Галиной расторгнут юридически. Что и дает мне основания считать их, извини меня, чужими. И Галина, ты бы видел, готова растерзать его физически! Ты говоришь: набедокурил. Это мягко сказано. Очень, о-очень мягко. Он меня с крыльца, как щенка приبلудного. На глазах народа. Народ шел на работу. Народ все это видел! Он не меня — он депутата оскорбил при исполнении. А у меня — иммунитет. Я это не оставлю. Ты не обижайся. Тебя я уважаю, а его возьму за жабры. Вернее, не спущу. Из уважения к закону.

— Закон я тоже уважаю, — поднялся Веремеев. — Но можно ведь по-человечески?

— Можно, но — нельзя! Сами же трубите: бандитизм, преступность! А взяли в оборот хулигана пьяного — просите помиловать. А как с борьбой с преступностью?

— Боритесь, ради Бога. Двумя руками «за»! Да только там ли начинаешь?

— А-а, он за колхоз, но не в своей деревне, так? Так дело не пойдет! Чего он сам-то не явился, а тебя прислал? Думает укрыться за братовой спиной? Я не погляжу, ты меня маленько знаешь! Так дело не пойдет. Тебя я уважаю, но закон — тройне. Вот пусть он сам ко мне придет. Тогда поговорим!

— А договоритесь?

— Думаю... подумаем, — проямлил депутат.

...Полная и статная, в ситцевом халате затейливой расцветки, Галина, стоя у трюмо, запрокинув голову, расчесывала русые вьющиеся волосы.

Веремеев кашлянул.

— Добрый день, невестка!

Галина, вздрогнув, обернулась.

— Ви-иктор? Напугал! Здравствуй, деверек! Не за Сашку ли приехал хлопотать? Если за него, за идиота, то и присесть не приглашу — не будет разговора. Сказала — упеку, значит, упеку. Никакой амнистии.

— Сердитая какая!

— А как же не сердиться? — вспыхнула Галина. С холодком и отчужденностью в немигающих глазах бросила гребенку, придвинула к порогу табуретку.

Веремеев сел.

— Я тебя, невестка, понимаю...

— Не называй меня невесткой! Была невестка да сплыла. Я теперь чужая... Ольга вам родня! Чего он к ней не едет? Пусть едет на Кавказ! Трезвый стороной меня обходит, глазами землю роет, а пьяный донимает, проходу не дает. Я ему не Ольга! Не ревинская шлюха! Про меня никто не скажет, что с кем-то загуляла, под кого-то распласталась... А на той, Олюхе, что он привозил, только трактор да комбайн не побывали. От людей не утаишь. Вот пусть он к ней и ломится!

— А может, он, Галина, тянется к тебе? Осознал ошибку?

— Поздно осознал, если осознал. Ничего не выйдет. Да и не верю я ему. Он неисправим.

— Так уж и неисправим? — вскинул брови Веремеев.

— А ты не усмехайся!

Веремеев встал.

— Галя, я прошу тебя заявление забрать. Сделай это ради стариков. Я тоже вышел из терпения. Вот съезжу завтра в Ревино, вернусь и увезу его с собой.

С недоумением во взгляде Галина обернулась.

— Куда это — с собой?

— С собою, в Семиреченск.

— Не понимаю, для чего?

— Не судить — лечить надо Александра. Не хочет исправляться добровольно, исправим принудительно.

— А если не захочет?

— А не захочет — пусть пеняет на себя. Тогда садите его с Пашкой!

Еще раз взглянув избоку на деверя, Галина тягостно вздохнула:

— Боюсь, не знаешь брата, Виктор!

* * *

Уже за полдень вернулся Веремеев в избу. Едва успел раздеться, явилась Спиридониха, вопросительно уставилась кроткими глазами.

— Нету, Витя, Сашки. Нету! И на обед не приходил! Не увез ли его Тюля, чего доброго, в кутузку?

— Не увез, не беспокойся. Никто его в кутузку не упрячет.

— Так на обед не приходил... Какой бы ни был после пьянки, поись всегда зайдет!

— Придет, пошли его ко мне... Сходим к депутату. Надо поклониться.

— Был у Павла Филимоныча? — встрепенулась Спиридониха. — А у Гальки был?

— Был, лелька, был. Не паникуй, все будет хорошо.

— Да кабы так оно и вышло! Это Бог на выручку прислал тебя к нам, Виктор. Не приехал — загремел бы Сашка. Как пить дать загремел! Пойду хлебушка куплю... Хлебушка куплю да дедку ободрю, а то затосковал... Жалко ему Сашку!

Она ушла, а Веремеев приготовил кипяток и сделал себе кофе. Присел к столу, взял ручку. Но состояние тревоги, неопределенности, давящей угнетенности уже не отпускало. Стонущая боль растекалась под сердцем... Он встал, растер ладонью грудь. В слепом порыве сгреб со стола бумаги, остервенело смял их и отбросил к печке рассыпающийся ком. Оделся, вышел из избы. Постоял

потерянно посреди двора и, сорвав с рябинки горсть незрелых ягод, выдавливая деснами, языком и небом терпкую, вяжущую горечь, зашел в дом к старикам. Подсел к столу на табуретку.

Петруня шевельнулся на постели, приподнялся на локте, окинул Веремеева отсутствующим взглядом и сел на краешек кровати, свесив исхудавшие венозные ноги. Его глаза под бурыми наплывами складок водянистых век казались не живыми, а стеклянно отражающими вещи.

«О чем вот думает старик? О чем думается людям на исходе жизни? Вспоминают ли былое? Строят ли планы на отпущенное Богом? Размышляют ли о нынешнем? И если думают, то как? С угрызениями совести? С сожалением? С упреком? Или — с удовлетворением? О чем вот думает Петруня? Этот вечный труженик, фронтовик, художник? Или дряхлый его мир состоит из неосмысленных, случайных образов, видений? Как в болезненном бреде или в забвении?»

— Грустно, дядя Петя?!

Петруня промолчал. Достал из-под матраса надорванную пачку «Беломор-канала», вынул папиросу, размял ее трясущимися пальцами.

— Грустно, дядя. Грустно, знаю! — Веремеев хлопнул ладонью о колено и подскочил к кровати. Опустился на корточки и, заглянув в Петрунины глаза, спросил с надрывом в голосе: — Почему молчишь? Почему ты все молчишь-то, дядя? Что-нибудь болит? Скажи! Ведь вижу, что болит! Что, скажи мне? Сердце? Печень? Почему молчком-то? Все-е! — выпрямился он. — Завтра отвезу! Придет студийная машина, и поедем оба... Все! И не перечь! — И оттого, что принял наконец-то твердое решение, что будет завтра день заполнен делом, от сердца отлегло.

Петруня закурил, подошел к плите, выдвинул задвижку. Встал на колени перед топчным отверстием.

— Душа, Виктор, у тебя чего-то не на месте... Мае-ется душа. Случилось что, скажи? Скажи, пока бабки нет...

И от его негромких слов Веремеев обомлел.

Он отказался от обеда, а вечером от ужина. Достал из подпола бутылку привозного коньяка и усидел ее к полуночи под банку сухих шпрот.

«Как дальше жить? На что надеяться? К чему теперь стремиться, когда вокруг все мрачно и необъяснимо? Когда уже нет сил и не осталось веры абсолютно ни во что? Сохнуть в паутине безысходности, тоски и одинокости? Никчемности и никомуненужности? А боль в твоей душе, кому она нужна? Но что ты можешь дать? Луч света, капельку надежды? Увы, ты не пророк, не ясновидец. И не утешитель. Не горьковский Лука... «Улетели, барин, журавли!» Но недостойно умереть, не разобравшись в окружающем и в себе самом. Не ответив честно на простой вопрос: а что ты значил в этой жизни? И значил ли вообще хоть что-нибудь?»

И даже когда за полночь подкатил к воротам Александров «Беларусь» и остановился, полоснув по окнам ярким светом фар, заглох и с прицепной тележки обвалились россыпью дрова, не вышел на подмогу, не поднялся. Подперев лицо руками, вслушивался в мягкие, хаотические звуки падающих дров, и казалось, сердце бьется в унисон.

8. Суббота. ТЫ НА ГОРУ, ЧЕРТ ЗА НОГУ

Утром Веремеев выбрил щеки, подбородок, освежился из пульверизатора, надел захваченный из дома легкий джемпер. В ожидании обещанной Викой машины отправился к старикам.

Александр под навесом выстилал жердинами место под поленницу. Увидев брата, сдержанно кивнул и вернулся.

— Не прячь глаза, герой! — остановился Веремеев. — Неужели стыдно? Что-то слабо верится... И подожди с дровами — дрова не убегут. Пока я езжу в Ревино, сходи-ка к Пашке Вэ-Пэ-Ша. Вчера с ним разговаривал...

— Кто тебя просил? — буркнул Александр.

— А ты не ерепенься и не лезь в бутылку. Тоже мне, гордец! Пашка — мужик с гонором, но поладить можно. Сходи, покайся, что ли, — не мне тебя учить. Тебе ведь не впервые. А вернусь из Ревина, у нас с тобой особый будет разговор. О чем — советую подумать.

Александр смолчал.

— Да не заводись! — прибавил Веремеев.

Едва он вошел в дом, Спиридониха достала из натопленной печи чугунок с картофельной — любимой! — золотистой запеканкой.

— Вот уж от чего не откажусь!

— Так для тебя, Витя, старалась! — довольная, сказала Спиридониха. — А то уедешь не поевши, да на целый день. На пустой желудок много ль наработаешь?

Он сел за стол и разломил каральку.

— Лелька, дядя где?

— В ограде где-то... С Сашкой.

— Он собрался, нет?

— Куда-а? — застыла Спиридониха.

— Как — куда? Со мной. В больницу. Поеду и попутно завезу. Ведь я предупреждал!

— Ой да, Витенька, не надо! Не надо, мой родной! Растрясете, хуже будет. Какая нам больница?

— Ну что ты будешь с вами делать? — Он отодвинул чугунок и отбросил ложку. — Зови, лелька, дядю. Я за него в ответе!

— Ну хорошо, ну ладно, — уступила Спиридониха. — Я позову, а ты поешь. Поешь, а то остынет! — Она вышла, что-то бормоча, но тотчас воротилась. — Виктор, там приехали... За тобой. Машшина!

— Где он?

— На крыльце... Улы-ыбчивый!

— Ну так пригласи, что ж ты растерялась!

...Пропустив вперед себя черноволосого мужчину с крупным римским носом, в коричневой кожанке, в брюках на заклепках, в ярких адидасовских кроссовках, Спиридониха прикрыла за ним дверь и из-за спины вошедшего взглянула на оторопевшего племянника.

Гость бегло огляделся и с наглечой во взгляде произнес невозмутимо:

— Здравствуй, Алексеич. Картина Репина «Не ждали»?

Веремеев медленно привстал.

— Зарни-и-ицкий? Ты откуда? Как сюда попал?

— Да не по доброй воле, чего уж там скрывать. Из Ревина, от Вики... Виктории Степановны.

— Как — от Вики, я не понимаю.

— Да вот так...

— Вы проходите, проходите, — засуетилась Спиридониха. — Виктор, приглашай товарища к столу. Садитесь, добрый человек. Картошечки вот с нами!

Зарницкий благодарно взглянул на Спиридониху, затем — демонстративно — на часы.

— Времени в обрез, но чашку чая с удовольствием! — сел рядом с Веремеевым и закончил мысль: — Да, от Виктории Степановны. Дело в том, что там у них «рафик» поломался. Вечером пришла, упростила съездить. Ну, куда деваться — «Москвич» мой на ходу, не станешь объяснять, что мы с тобой в... раздоре. Приехал вот, машина ждет.

— Ясно, — хмыкнул Веремеев. — Выходит, я с тобой должен дискуссировать? Рассуждать о «перспективах» и «путях развития»?

— Выходит, что со мной.

— О-очень любопытно!

Спиридониха поставила на стол чашки с крепким свежим чаем, выставила сахарницу.

Зарницкий полуобернулся.

— А вы и есть та самая... простите, как по отчеству?

— Да какое отчество! — смешалась Спиридониха. — Звать меня Еленой, по паспорту — Матроновна. А кличут Спиридонихой, по тятиной фамилии.

Зарницкий расстегнул свою кожанку.

— Рад с вами познакомиться! Был о вас наслышан. Я ведь тоже крестник ваш в некотором роде... Двадцать восемь лет назад моя мама разрешилась мною не без вашей, так сказать, акушерской помощи...

— Вот ведь как бывает! — зарделась Спиридониха. — Виктор, слышишь, нет?

— Слышу, — буркнул Веремеев, помешивая чай.

— Гора с горой не сходится!.. — Пока она расспрашивала гостя о житье-бытье, о здоровье матери, которую, конечно же, оказалось, помнила (схватки начались на сенокосе, в поле, и роды были трудными, в избушке на заимке), Веремеев допил чай, с плохо скрытым раздражением удалился в горницу и надел костюм.

«Если б знал, кого Виктория пригласила в оппоненты, ни за что б не согласился на эту передачу. Но теперь не отвертеться... Слово дал, придется ехать... Что ж, нет худа без добра — отвезу Петруню!»

— Лелька, где же у нас дядя? — спросил он с нетерпением, выходя из горницы. — Время отъезжать. В больницу бы успеть до передачи!

— И то, чего шаперятся? Пойду, Витя, кликну. — Она вышла в сенцы.

— Еще кого-то ждешь? — любопытствовал Зарницкий.

— Да, деда захвачу... Заболел, похоже.

— Мать у меня тоже... Кое-как скрипит.

С минуту помолчали.

— Сам-то давно в Ревине? — поинтересовался Веремеев.

— С середины лета. Жена у стариков... Теперь уже в роддоме. Жду.

— Сына ждешь-то?

— Сына.

— Это хорошо...

Разговор не клеился.

Зашел мрачный Александр, кивнул молчком Зарницкому. За ним вошел Петруня, следом — Спиридониха. Распорядилась на ходу:

— Дед, переоденься. Рубаха на столе. И чистое бельишко на комод в горнице. К ужину-то ждать? — спросила Веремеева.

— К ужину приедем, — успокоил он.

— Я их привезу, — пообещал Зарницкий.

Александр буркнул:

— Не за делом батю стронул!

Голубой «Москвич», попетляв проулками с разбитыми скотиной навозными валами огородов, выехал проселком на большак, развернулся задним ходом в сторону райцентра. Зарницкий закурил и прибавил газу...

Петруня задремал. В серой ситцевой рубаше, в сером пиджаке, в линялых серых брюках, сидел, откинувшись на спинку заднего сиденья за спиной Зарницкого, сложив смиренно руки на груди и склонив седую, маленькую голову на плечо племянника. Веремеев мельком взглядывал в окно: овсяное поле, облетевший перелесок, кладбище, старухи...

Бывая в Веремеевке, он по воскресеньям заходил на кладбище. Каждая могилка там была ухожена. Даже на старинных, сглаженных годами холмиках могил безродных, безымянных, с иструхлявевшими крестами, лежали вялые и свежие букетики цветов, истлевшие и яркие конфетные обертки, кусочки сдоб, яичной скорлупы. Живые поминали усопших без разбору — кто чем был при жизни: православным или мусульманином, нищим или знатным, святым или злодеем...

Веремеев всматривался в лица с пожелтевших фотографий, вчитывался в стершиеся надписи на памятниках. Думал, размышлял. «И это все, что остается после человека? Бугорок земли, памятник, оградка? Неужели все? Тогда зачем все это? Для чего живем? Чтобы уйти в свой час со спокойной совестью? Это — много или мало? Или так нельзя — много или мало — просто по-людски?»

В любое время года — летом и зимой — старухи в праздничных нарядах здесь торили каждая свою и все вместе общие — тропы и тропинки. Затем они сходились к кладбищенским воротам, переговаривались шепотом в кругу. Когда он уходил, умолкали, расступались, и он кожей ощущал их провожающие взгляды на своей спине...

Старухи и сегодня разбрелись по кладбищу. «Зачем они идут туда? Наверняка не посудачить. Умиротворяются? Проводят смотр перед уходом, готовятся ко

встрече с теми, кого не позабыли? А может, кладбище им служит единственным в деревне местом очищения, где о близкой смерти думается как об избавлении, без душевного надлома? Кладбище в их жизни заменяет церковь?»

Через полчаса, в сотне метров от развилки с накренившимся к обочине дорожным указателем, мотор чихнул и вдруг заглох. «Москвич» на скорости бесшумно прокатился, стал. От толчка Петруня вздрогнул...

— А-ась?

— С добрым утром, дед. Приехали! — Зарницкий обернулся с недоумением во взгляде. — Ничего не понимаю! С чего бензин-то на нуле? Вечером заправился!

— А точно заправлялся? — усомнился Веремеев.

— Как не точно? Точно. Что же я, без памяти?

— Может, счетчик врет?

— Как же врет, когда машина стала?

— Или мотор забарахлил?

— Мотор на нем как часики!

— Тогда в чем же дело?

— Ничего не понимаю! — Зарницкий чертыхнулся, вышел на дорогу. Закурил, присел на корточки...

В сердцах громко хлопнув дверцей, Веремеев — следом.

— Вот так удружил! Приехал с пустым баком! Что же будем делать? Ждать с моря погоды?

Зарницкий промолчал.

...Утренний автобус через Веремеевку прошел на Ровино час тому назад. Следующий должен бы пройти по расписанию не раньше пяти вечера. «Ждать смысла нет, — подумал Веремеев, — не успеешь ни в больницу, ни тем более на эту — черт ее побрал бы! — телепередачу... Стоять голосовать в надежде на водителя, который просто так, от доброты душевной, заправит этого болвана? Доброхотов нет. Частник ныне пуганный, шарахается в сторону. И не остановится — ветром пролетит. И комбинатовских машин сегодня не видать: суббота. Выходной...».

— Что там за указатель? — кивнул Зарницкий в сторону развилка.

— Поворот на Моховое. Восемь километров... Стоп! — спохватился Веремеев. — У меня там брат. Егор. Старший зоотехник. У него машина. Может быть, ударить мне туда на одиннадцатом номере? Время позволяет: восемь километров — два часа ходьбы, полчаса у брата, оттуда четверть часа... В итоге — три часа. Тут больше простоим. Пойду, а вы позагорайте...

— Смотри, тебе видней, — пробурчал Зарницкий. Подошел Петруня.

— До Егора, Виктор? Тогда через болото... Через болото, через бор и — напрямик! В аккурат упруешься. Только по болотине одному не дело. Ступайте, я постою.

9. Суббота. ПОШЕЛ К КУМЕ, ДА ЗАСЕЛ В ТЮРЬМЕ

Вытолкнув машину на обочину, дошли до первого своротка и через прореженный, расцвеченный предосенним увяданием подлесок едва приметной тропкой вышли на болото. По ту сторону виднелись кривоствольные березки и густой лозняк. Тропинка разветвлялась, терялась между кочками.

Вскоре под ногами зачавкала вода. Впереди открылся пузырящийся зыбун...

Веремеев приостановился.

— Придется обойти!

— Не обойти — вернуться! — возразил Зарницкий, глядя на упругие, острые как лезвия влажные клинки ниспадавшей веером с мертвого кочкарника осоки. — Я уже промок... Вернемся, Алексеич. Пройдем немножко лесом. Там, с краю, вроде суше.

Вернулись и прошли подлеском километра полтора, вышли на елань. Тропа оборвалась.

— Нам теперь налево? — стал в тупик Зарницкий.

— Почему — налево? Налево — мы назад, на дорогу выйдем. Нам теперь направо, и выйдем на лозняк. Там увидим бор.

— А не налево, Алексеич?

— Так тебя туда и тянет! — отшутился Веремеев. — К «левым» да налево.

Они пошли еланью, но через сотню метров вышли на... болото. Вроде то же, да не то... Впереди — не березняк, а уже — стеною — согра.

Зарницкий стал как вкопанный.

— Что за чудеса?

— Кажется, болото...

— Вижу, что болото. Болото, да не то! За ним, гляди, какие джунгли, а не сосновый бор. Не туда попали. Нам влево надо было!

— Не паникуй, Зарницкий. Тут негде заблудиться: туда — большак, сюда — проселок. — Запрокинув голову, Веремеев поглядел на уныло-серое, затянутое небо. — Жаль, солнца не видать. Не вдруг сообразишь, куда и направляться...

— А никуда не направляться! — занервничал Зарницкий. — Надо возвращаться. На дорогу. Ни ты, ни я не знаем этого болота. Прокружим тут до вечера. Боюсь, добром не кончится!

Веремеев согласился скрепя сердце.

Пошли через елань по направлению к проселку. Спустя четверть часа вышли на... кочкарник. Сухой, необозримый. Высокие белые кочки были сплошь усыпаны едва забордовевшими ягодами клюквы.

— Кажется, приехали, — выдохнул Зарницкий и разразился бранью: — Черт меня к тебе понес! Влипли. Заблудились. А все из-за тебя!

— Помолчи, нервическая барышня! — прикрикнул Веремеев. — «Все из-за тебя-я!» Тоже гусь хорош. Приехал на подсосе, теперь виновных ищешь!

— Но ведь ты же местный! Как мог закружиться в трех верстах от дома?

— Такой же местный, как ты в Ревине. Уже тридцать с лишним лет приехал да уехал. Что же, я, по-твоему, по болотам шарюсь?

— Дед тоже — «напрями-ик!». Будто в магазин через дорогу сбежать. Прыгай, как козел, теперь по кочкам!

— Ладно, успокойся. Отдохнем. Подумаем.

— Думай, Веремеев. Завел, так выводил.

С враждебностью во взглядах уселись на сушину. Веремеев мысленно перебирал все варианты: «Куда теперь податься? Опять через болото? Ухнешь где-нибудь в трясину — поминай как звали. Пойти в обход? Но этому болоту, похоже, нет конца и края. Повернуть назад? А где он теперь, зад? И солнца не видать... Как запропасилось! Искать тропу в березняке? Должны же там быть тропы? Найти тропу и — до упора. Куда-нибудь да выведет. — Он глянул на часы: перевалило за полдень. — Три часа — и смеркнется!»

— Вставай, пойдем, Зарницкий. Надо выйти засветло.

— Куда? В какую сторону?

— Через березняк.

— Но мы оттуда вышли!

Веремеев молча двинулся вперед. Зарницкий раздражал его вопросами...

Чахлый березняк сменился наконец-то кедровой темной рощей. Через пять минут открылась взору Веремеева давнишняя, заброшенная просека в зарослях малиника. Он ускорил шаг. Зарницкий за спиной прерывисто дышал и постепенно отставал. Споткнулся о валежник, упал на четвереньки.

— Куда ты ломишься, как лось? Запалил до смерти!

— Вставай. Вставай, Зарницкий! — остановился Веремеев. — Куда-то мы с тобой, кажется, выходим... Видишь, просека в кедровнике... И — сыростью пахло. Где-то тут поблизости вода!

— Кажется ему!

— Не ерпенься, не ко времени. Вставай и догоняй! Зарницкий встал и огляделся.

— Не понял я, куда выходим? Этой просеке сто лет. И где тут может быть вода?

— Шагай, не рассуждай!

...Через четверть часа миновали рощу, вышли на округлую небольшую сопку. Посредине одиноко возвышался кедр. Справа простирался рыжий от опавшей прошлогодней хвои рям с огненными выплесками скрытого кустарником шиповника. Пологим лысым склоном соп-

ка упиралась в крутой бездонный лог в наворотах бурелома.

— Ну и где вода? — загнанно дыша, подошел Зарницкий.

— А что, по-твоему, внизу?

— Внизу-у? В этой... преисподней?

— Вот именно, внизу?

Зарницкий вытер пот со лба.

— А что там может быть?

— Клубок, что выведет нас к речке!

— А если без загадок?

— Там, под завалом, бьет родник. Вслушайся... Журчит?

Зарницкий сострадательно взглянул на Веремеева, разочарованно вздохнул и распластался на брусничнике.

— В ушах у вас журчит! С галлюцинациями вас, Виктор Алексеич!

— Не ехидничай, Зарницкий. Выслушай меня. Там, внизу, бьет ключ — я слышу. Родник бежит по склону. В какую сторону бежит — требуется выяснить. Зачем — надеюсь, объяснять излишне. Вода найдет дорогу к речке... Она, сдается мне, Зарницкий, где-то рядом. А если выйдем к речке, то, можно сказать, дома.

— Короче, что ты предлагаешь? Из болота в лог? Из огня в полымя?

— Другого выхода не вижу.

Зарницкий рывком сел и обхватил колени.

— Спуститься в преисподнюю, скакать по бурелому? Я не бурундук!

— Да не скакать, а выяснить, куда бежит ручей!

— Ты как хочешь, а я — пас. Я туда ни шагу. Сдыхать, так наверху! На открытом месте. А там — костей не соберут!

— Он сдыхать собрался! — хмыкнул Веремеев. — Тонка-а кишка, Зарницкий! Рано подыхать. Не всех своих противников позором заклеимил. В газете без тебя не обойдутся!

— Ты уверен, что ручей, будь он в этой пропасти, упадет в какую-нибудь речку? Я в этом не уверен, — про-

должал Зарницкий. — А если он впадет в болото? А так оно и есть. Видишь, справа рям? Мы опять у этого чертова болота! Только вышли, чую, с противоположной стороны! Нет, я в лог ни шагу. Догадываешься хоть, в какой примерно стороне мы с тобой находимся? Или ничего уже не понимаешь?

— Не ориентируюсь, Зарницкий, — признался Веремеев. — Запутался. Устал. Засветло не выйти, придется ночевать. Разведем костер, подремлем... Утром разберемся.

— Он ночевать собрался здесь? — вскинулся Зарницкий.

— А куда деваться?

— Я ночевать тут не намерен! У меня дела! У меня жена... в роддоме! Соображаешь, нет? Или ты меня на прочность проверяешь? Испытываешь нервы?

— Чудак! Неужели ради испытания твоих хилых нервов я больного деда оставлю на дороге? Ночью? Одного? Успокойся. Сядь. Ссора нам с тобой сегодня не союзник. Ругаться дома будем.

* * *

В предвечернем сумраке насобирали хворосту. Зарницкий выволок откуда-то сушину. Развели костер. Пока он разгорался, отстреливая искрами, нашли разлапистую пихту, наломали веток, выложили ими место у костра. Долго в молчаливой отчужденности обсушивали мокрую одежду, жались у огня. Затем Зарницкий натянул на голову кожанку и зарылся в лапнике. «Как там сейчас Петруня? — думал Веремеев. — Хорошо, если на попутке укатил домой, а если не уехал? Не если, а наверняка. Не бросит он машину. Ни за что не бросит!» О себе не беспокоился. Он не сомневался, что с рассветом прояснятся мысли, прояснится обстановка — выйдут на дорогу или в худшем случае по ручью к речушке, а все случившееся с ними — нелепость, наваждение...

В полночь встал и, натыкаясь на черные кустарники, подошел в потемках к логу. Вслушался... «Журчит!» Кра-

ем отошел шагов на тридцать, присел над черной бездной, превратился в слух... Вода била ключом! Ручей бежал, по звуку, в сторону кедровника. «Утром уточню». Из-под ноги вдруг отделился окаменелый ком земли и по крутому глинистому склону с рассыпающимся шорохом полетел в чернеющий на дне завал. В то же время за спиной послышались шаги. Веремеев, оробев, резко обернулся...

— Зарни-ицкий? Ты? Чего не спится?

— Не дома на кровати... А ты чего тут бродишь?

...За ночь Веремеев так и не сомкнул тяжелых век. Не спал остаток ночи и Зарницкий. Лежа на боку, двумя большими пальцами, черными и липкими (как, впрочем, губы, шея, подбородок и даже кончик крупного, правильного носа), остервенело шелушил наполовину облущенную кедровкой неподатливую шишку. Со злым упрямством выковыривал из гнездышек орешки, по одному бросал их в рот и с треском грыз...

«Кишка тонка у парня. Совсем, похоже, скис! — Веремеев ворошил тлеющие угли, поддерживал огонь, подбрасывая хворосту. И не испытывал к Зарницкому ни злобы, ни презрения. Обида притупилась, и даже шевельнулась в сердце жалость к непримиримому противнику. — Тоже понять можно: жена вот-вот родит, ждет его, наверное, а он...».

— Стихи-то пишутся, Зарницкий? Прочел бы что-нибудь!

Зарницкий раздраженно выплюнул скорлупку.

— «Стихи», «стихи»! Не до стихов!

— Не пишутся? А жаль. Когда-то мог ты удивить... «Вредными стихами»!

«Вот тебе и диалог, — подумал Веремеев. — Подвели Викторию... А может, оно к лучшему? О чем полемизировать? Какие «перспективы» и «пути развития», когда в себе не разберемся? И до какого уровня скатились наши споры! Грызня с пеной на губах. Дрызги. Сплетни. Драки! Маты, рыки, вопли! «Левые» на «правых» — «правые» на «левых»! «Демократ» на «патриота» — «патриот» на «демократа»! Бьемся с перекошенными лицами, да не на жизнь, а на смерть. Разим

друг друга перьями калеными, грязью поливаем, склоняем по всем падежам недозволенным! Остановиться недосуг. Успеть бы — очернить! Изобличить, облаять! Прижать противника к ногтю! И кто тут прав, кто виноват? Какой судья рассудит? А слово позабыто, позаброшено. А что бы заглянуть-то в глубину его, гранями звучания вдоволь насладиться, теплом лучей его согреться? Обогреть сердца! Не-екогда. Нет времени. Когда-нибудь! Потом! До изящной ли словесности!..

Как все осточертело! Довольно. Выхожу. Умываю руки. Никаких опровержений, никаких полемик! О Петруне очерк сделать — вот что сейчас нужно. Хороший, светлый очерк о светлом человеке! «Солнечных дел мастер» — чем не заголовок? И — портрет на клейку. Цветную фотографию в золотистой рамке в форме налитого колоса пшеницы». — Он настолько живо вообразил портрет Петруни в золотистой рамке, украшенной соломкой, как загорелся мыслью рассказать о Мастере и его искусстве, сказать себе и людям: «Да вот же красота, которая спасет!», — что даже ощутил подзабытый жар...

Но стояла ночь. Черная, промозглая. Под покровами холодного пронизывающего ветра с вершины кедра обрывались налитые шишки и со свистящим хрустом тонули в беломошнике. Остервенело грыз орехи Зарницкий. Потрескивал костер...

10. Воскресенье. КОЛЬ НЕ ПОП, НЕ СУЙСЯ В РИЗЫ

Утром по ручью вышли к пересохшей безымянной речке, а к полудню наконец-то точнехонько к развилку. Но ни машины, ни Петруни там не оказалось...

Александр под навесом довершал поленицу. Посреди двора стоял голубой «Москвич». Зарницкий от ворот подбежал к машине...

В доме за столом напротив Спиридонихи сидела полнотелая Галина с розовым, распаренным лицом, с махровым полотенцем вокруг шеи.

— Неве-естка? Вот сюрприз!

— Здравствуй, деверек. С прибытием тебя!

Спиридониха в наброшенном на плечи полушалке кинулась навстречу, сцепила пальцы рук.

— Яви-ился, слава тебе, Господи! Да на кого похожий! Галя, глянь-ко на него! В смоле да в паутине! Уходил костюм!

— Не в костюме дело, лелька!

— Да разве можно так-то, Виктор! Всех на ноги поднял! «К ужину приедем!» Я ждать-пождать — вас нет. Сашка днем машину притащил, на тракторе въезжает, а у меня — поверишь ли? — ноги отнялись. Что случилось, думаю? Аж в голову ударило. Вышла: дед сидит в машине, как Павел Филимоныч, а тебя не видно... Я к Сашке: «Виктор где?» — «Надумали с товарищем в Моховое к Гошке!» — «Пошто не на машине?» — «Машина поломалась, болотом подались!» Я ждать-пождать — вас нету. И ночью нет, и утром нет... Баню истопила, а вас все нет и нет... Что не передумала! Ведь через болото — нешуточное дело! Деда отчихвостила: зачем одних пустил? До Галины сбегала — та переполохалась... А мужики и в ус не дуют... Будто так и надо. Разве можно так-то?

— Одну минутку, лелька... Когда, сказала, Александр машину притащил?

— Так днем вчера... После обеда, — насторожилась Спиридониха.

Веремеев подозрительно глянул на Петруню. Тот курил на корточках у печки.

— Дядя, расскажи, как он тебя нашел?

— Саха-то?

— Ну да!

Петруня поглядел на всех поочередно.

— Саха-то? Наше-ел!

Догадка легкой тенью скользнула по лицу, тронула в недоброй, страдательной усмешке губы Веремеева. Он повернулся к Спиридонихе.

— Значит, деда отчихвостила? Остается Сашка? С ним сам поговорю. Ох, поговорю-ю!

Галина от стола метнулась вдруг к порогу, стала спиной к двери, выставила руки.

— Виктор, обожди. Куда так разогнался? Ишь какой горячий!

— Что с тобой, невестка? — опешил Веремеев.

— Ты Сашку не тирань! Оставь его в покое. Раскомандовался тут! «Деда отвезу!», «Сашку увезу!» А у меня спросил? У отца? У матери? Он за всех решил, всех определил! Кто тебе дал право? К кому ты гонишь Сашку? К Пашке-депутату? Да если уж на то пошло, Сашка в Веремеевке первый депутат! Старики со всех трех улиц идут к нему — не к Пашке. Огород вспахать — к нему, дровишек, сена подвезти — к Сашке Веремееву, подсвинка заколоть — где у нас там Саха? Ты о них подумал? «Сашку увезу!» Я те увезу! Он тоже мог бы, как Егор или, скажем, ты, милый deverечек, махнуть куда подальше. В Моховое! В Ревино! Или — в Семиреченск! Я его звала! Я его тянула! Чем он хуже вас, таких любвеобильных? Уехал да любил бы их издалека, — кивнула на Петруню. — И жалел бы издали. Приезжал бы ненадолго, давал бы нагоняю какому-нибудь Сахе. Сах пока везде хватает, слава тебе, Господи!..

— Галя, перестань! — встряла Спиридониха. — Разве можно так-то?

— Можно, мама. Можно. И не можно — нужно. Должен кто-нибудь! Он за «всех в отве-ете!» Он всем «добра желает!». Желает — не встречай!

— Перестань, Галина! — взмолилась Спиридониха.

— Пусть баба покричит, — прогудел Петруня.

— И покричу, а что вы думали? — Галина сникла, опустила руки. — Пусть он нас послушает. Не все ему учить...

— Ну, выпустила пар? — спросил устало Веремеев.

— Выпустила, Виктор... И не обижайся. Люби нас всех издалека, только не встречай. Не ломай, не будоражь. Оставь в покое деда, брата... Мы сами разберемся. Ты приехал и уехал, а нам тут оставаться.

— Благодарю за откровенность! — бледный, Веремеев вышел...

Широко расставив ноги, сбыхась, на крыльце стоял Зарницкий.

— Доволен, Алексеич?

— Ну а ты — о чем?!

— О твоём спектакле! — лицо Зарницкого ослабло в презрительной усмешке. — Ты здорово придумал: завести в болото, покружить по лесу, а ночью скрыться втихомолку? Но не получилось. Я раскусил тебя. Еще на большаке, когда бензин вдруг кончился... Был полный бак и вдруг — иссяк. Вытек. Испарился! Это — дело твоих рук. Вернее, брата твоего. Он слил бензин из бака — я в этом убедился... Но что ты доказал? Отомстил Зарницкому за его статьи? Мелко! Очень мелко, Виктор Алексеич. От вас не ожидал.

Веремеев тихо, нервно рассмеялся.

— Дурачок ты, Слава. И с такой вонючей мыслью ты за мной таскался? Караулил ночью? Сторожил у лога? Как тебе могло такое в голову взбрести?

Зарницкий сплюнул в сторону, сел в «Москвич» и выехал в раскрытые ворота.

— Мальчишка ты! Сопляк! — выкрикнул вдогонку Веремеев и обессиленно присел на нижнюю ступеньку...

Из-за поленницы вышел Александр. Приблизился к крыльцу, опустил рядышком.

— Я его заправил, Виктор.

— А бензин слил ты?

— И бензин слил я.

Веремеев дернулся. Александр усмехнулся, тронул брата за плечо.

— Сядь, не кипятись... Да, бензин слил я. Оставил ровно столько, сколько вам хватило доехать до проселка. Но слил по просьбе бати. Мы так договорились. Только вы отъехали, я следом выехал на тракторе... А как с тобою по-другому? Ты у нас упрямый, тебя не убедишь. Такие вот дела. Ты, братка, не держи обиды.

— Самоубийцы вы... Самоубийцы!

— Да ну тебя, не усложняй!

Из дома вышла Спиридониха.

— Витя, я баню собрала. Ступайте с Александром, куда пар не вышел. Там договорите... Да веничком его, Витя, хорошенько! Нажарь от всей души!

Веремеев встал.

...Утром он уехал.

11. ПОСКРИПТУМ

А ответную статью на скандальный выпад «апрелевца» Зарницкого Веремеев написал. Дома. За один присест. Спустя всего неделю. За сутки до обширного инфаркта.

1993 г.



ОКОЛОТОК ПЕРЕКОВКА



1

Из «криминальной хроники» городской газеты: «2 июня в подъезде дома № 8 по улице Красной совершено изнасилование и ограбление 17-летней студентки педучилища. Разыскивается подозреваемый...»

* * *

О том, что черным цветом расцвела преступность и действуют преступники в открытую и нагло, среди бела дня, Серафима знала. С выходом на пенсию, в особенности после смерти мужа, времени свободного было в преизбытке. Читала «Правду Севера», смотрела телевизор, не выключалось радио на стенке. И от того, что знала, голова шла кругом, становилось неуютно в собственном домишке, даже если постоялица находилась рядом. Субботние «правдешки» пестрели сообщениями о грабежах, убийствах и насилиях, происходивших не в разбойном мире — за морем-окияном, а в родной державе, в тихом городке. По телику — любуйтесь, люди добрые! — во весь экран показывали пьяниц и мошенников, бродяг и наркоманов — обрюзглых и небритых, рукою на себя махнувших, облик человеческий утративших; вели беседы-разговоры с ворами, проститутками — нахальными, бесстыжими (гольем бы сучек вдоль по улице прогнать народу на посмешище!). Мелькали на слуху страшные слова — «рэкет», «мафия», «террор», значение которых объясняла, как умела, квартирантка Лена Дыбина...

— Да что ж это такое? Это что ж творится? Откуда все обрушилось, скажи! — обратилась Серафима ко всезнающей студентке. — Вроде тихо и спокойно раньше было, а теперь, гляди-ка, как прорвало — за рубель укокошут, глазом не сморгнут. Ходи по городу с оглядкой. Не Америка ль забросила десант?

— Ой, не катите бочку на Америку, Серафима Ниловна, — рассмеялась Лена. — Америка сама от нас в вос-торге.

Серафима подытожила раздумчиво:

— Совсем народишко испортился — ни Бога, ни острога, ни черта не боится. Быть, видно, светопреставлению в двухтысячном году. Знающие люди предсказали. — И предупредила квартирантку. — На тискотеку-то пореже бы полькала; не ровен час, прижуют, поганцы!..

Если всего лишь полгода назад вести о немыслимых злодеяниях воспринимались, в общем-то, без паники, как нечто инородное Кедровому, в котором худо-бедно доживала тридцать пятый год из своих шестидесяти трех, то теперь и в этом скромном городишке стало беспокойно, докатилась, видимо, волна... Нет, и раньше, говорят, КПЗ не пустовала: то с берега Оби угонят лодку с лодочным мотором, то мотоцикл из гаража, то муж жену побьет по пьянке — мало ль что случается с людьми: где люди, там и страсти.

Волна пришла в Кедровый жуткими убийствами. Уже под Рождество пьяный кочегар в «ямке» под горою — в южной части города — зарезал собутыльника за полстакана водки; в марте лыжник обнаружил в двух верстах от города труп полураздетого мужчины; три «зверька» из ПТУ надругались над девчонкой-пятиклассницей; на Пасху из-под снега в Центральном парке отдыха вытаял с проломленным затылком пропавший перед Новым годом тихий бомж Кудрявый Ангел; ясным днем в один из частных домиков на улице Октябрьской под видом инспектора госстраха вошел мужчина лет под сорок и, бритвой угрожая перепуганной хозяйке, вытребовал деньги, меха и драгоценности...

Девчушка в белой кофте, в легких серых брючках, со стрижкою под мальчика вбежала со двора в ту самую минуту, когда, управившись с делами, Серафима села посумерничать, а квартирантка Лена Дыбина вертелась перед зеркалом, собравшись, как всегда, на дискотеку.

Будто в автобус впорхнула — без стука, не прихлопнув за собою дверь. Бросила сумку на краешек стола, села перед обомлевшей Серафимой и понесла скороговоркой, зачестила:

— Здравствуйте! Господи, жарынь-то... Все так и тлеет на корню, все горит и вянет... Ничего, наверное, не будет этот год — ни грибов, ни ягод... А у вас, гляжу, картошечка веселенькой стоит, видно, поливаете? То ли дело, рядышком колонка, а у нас так — за версту. Вы у нас Колягина? Серафима Ниловна? Северная, тридцать? — Девчушка расстегнула «молнию» на сумке, достала ручку и блокнот.

Серафима поднялась и отступила в сторону. Сузила глаза. Маленькая, грузная, серьезная.

— Я-то, деушка, Колягина. Серафима Ниловна. Тут вы угадали. А вы, я извиняюсь, кто такая будете?

Незваная гостья застыла на мгновенье, затем, взмахнув рукой, смеясь, затараторила:

— Ой, простите-извините, Серафима Ниловна! Я правду не представилась... Заболталась, балаболка. Целый день гоняю, как велосипед. Я из отдела исполкома... Перепись жильцов. Всю вашу Перековку обежала, все бараки с развалюхами взяла!

— И документики имеются при вас?

— Имеются, а как же, все у нас в порядочке, — взглянув на Серафиму, гася улыбку на губах, девчушка достала из сумочки красную книжицу.

— Вот с этого и надо бы начать, — смягчилась Серафима, — а то ведь сами знаете, шастают тут всякие... Слышали небось, что на Октябрьской случилось?

— Да, да. Конечно. Понимаю...

— Спаси и сохрани! Глянь-ко, Лена, в книжечку — без очков слепая.

Лена Дыбина вздохнула укоризненно:

— Что вы, в самом деле, Серафима Ниловна! Нельзя же всех подозревать, — но в документ в руках девчушки заглянула.

— Береженого, девонька, Бог бережет. — Серафима обратилась к исполкомовской девчужке: — Вы сказали — перепись? Какая? Не выборы ли снова? Я больше не пойду. И не надо меня агитировать. Дом видели какой? Сто лет ему в субботу будет, а ремонта не дожусь, не допрошусь, к кому б ни обращалась. Какая нам от ваших депутатов польза? Они по радио без умолку галдят, а проку ни на грош. Нет, я не пойду.

Девчушка улыбнулась снисходительно, пальцами поправила прическу.

Серафима загляделась на нее, и стало ей неловко за свою сверхбдительность.

— Вы не беспокойтесь, я не за тем пришла, — оживилась гостья. — Я принесла вам радостную весть.

Серафима села, подалась в наклоне.

— Ну-ко, что за весточка?

— Вовек не угадаете!

— Во как? Интере-есно!

— Можете не думать о ремонте! Дом ваш сносу подлежит. Как-нибудь перезимуйте, а весной снесем гнилушки. Всю Перековку разровняем. И вселим вас в шикарную квартиру. С газом, ванной, туалетом... Заживете припеваючи!

Серафима не поверила собственным ушам.

— Что вы говорите? Неужели правда?! — И — засуетилась, и — замельтешила. Метнулась к газовой плите, сняла с конфорки чайник. — Что же я, корявая, с ходу напустилась? Вы уж извините копалуху старую. Напугало нас хулиганье, мы теперь и бдим, дыхнуть боимся громко. Дай-ка, милая, чайком потчую тебя!

— Что вы, что вы! Некогда. Дальше побегу.

Лена Дыбина завистливо вздохнула:

— Везу-уха, Серафима Ниловна!
Еще бы не везуха!

2

Кряжистый, подвижный, несмотря на возраст — 67 исполнилось весной, — сосед Ефим Гусаров в просторной клетчатой рубашке, в брюках на подтяжках с подвернутыми серыми штанинами, топтался возле стайки с топориком в руке, примеривая свежую жердину к ветхой загородке.

— Полюбуйся, Симуня, каких кабанов отхватил!

До слуха Серафимы донесся поросячий визг.

— Все ж таки решился?!

...В середине мая, когда вспученная Обь ломала, будто скорлупу, ледовый панцирь, на пенистой хребтине уносила ледяное крошево в Обскую губу, наводняла поймы и луга, Ефим снимал со сберкнижки деньги, плыл «Метеором» в Рямовский колхоз. Там имелись у него старые приятели. За бутылкой водки под свежую ушицу завязывался нужный разговор. С вечера Ефим дотошно вызнавал все тонкости вопроса, с утра ходил с мешком под мышкой по дворам и через день-другой коммерческих хлопот возвращался в город с поросятами в большом плетеном коробе. По три-четыре борова Гусаровы кололи ежегодно, парное мясо было нарасхват. Но если раньше комбикорма доставало, то теперь запасы истощились — давали лишь по справкам горрыбкоопа и только заключившим договор. Ефим, как истинный хозяин, связывать себя узами договора не желал. Стайка у соседа долго пустовала...

Ефим вогнал топорик в жердь и почесал за ухом.

— Опять рискнул, Симуня. Будь что будет. Либо мы их выкормим, либо нас они сожрут.

— Ну и правильно, сосед. Как-нибудь прокормите, неправда!

Гусариха уже кормила «кабанов». Высокая и статная, в резиновых сапожках, прижав к переднику веселку, стояла, словно статуя, с суровыми поджатыми губами. Четыре шустрых поросенка месячного возраста толклись у деревянного корытца.

— А ничего поросятишки, — сказала Серафима. — Веселенькие, гладкие.

— И цена хорошая, — буркнула Гусариха. — По семисот рублей. Ругаюсь вот, — веселкой показала на Ефима. — Зачем привез такое стадо? Парочки хватило б за глаза. Не до жиру, быть бы живу. Сожрут ведь с потрохами. Гляди какие жоркие!

— Все четверо кабанчики?

— Три парубка и свинка, — опередил Гусариху Ефим. — Бери, Симунь, не прогадаешь. Одного прокормишь.

— Одного чего ж не прокормить, — поддакнула Гусариха. — Картоха, слава Богу, есть, хлеб покамест не по карточкам, со стола опять же остается... Крапивы наросло. Одного-то не проблема.

— Больно с ними хлопотно, — Серафима сморщилась. — И взять не помешало б... Жить-то как-то надо... Взять ли, что ль, Ефим?

— Бери, бери, чего там! Последний год имеется возможность скотинку содержать. Снесут весной, так запоем в каменных коробках.

Гусариха в сердцах шлепнула веселкой по розовым ушам бойкого кабанчика.

— У-ух ты, ненажорный! Раздулся, как бочонок, все-то тебе мало. Братьев объедаешь!

— А ты, Ефим, не рад квартире? — Серафима подняла жиденькие брови.

— Мало радости, Симуня.

— Так хоть в квартирах добрых поживем! А то чего ж? Возьми меня — в добрых не живала. Пора и нам в благоустройство. Радоваться надо, а ты загоревал.

Ефим сердито засопел, сверкнул недобро черными зрачками.

— Порадуешься вот! Порушат огороды — своего-то ничего не станет. Ни мяска, ни картошки. Вселят, как скворца в скворечник, где-нибудь на пятом этаже — на балконе не посодишь. За каждую морковку полтинничек готовь. Проживешь ли на одну-то пенсию? Велика ли она у тебя?

— Так ведь прибавку обещают...

Ефима передернуло.

— Ты, Симуня, баба умная, да шибко уж наивна. Жди, когда прибавят. Государство просто так не раскошелится. Если и прибавит, то на грош, а цены вздует вдвое. Шибко-то не радуйся квартире, кабы, девка, плакать не пришлось.

— А что ты предлагаешь? Или — отказаться нам от сноса? Требовать ремонта?

— Нас с тобой уже не спросят, и все дела. Стройка тут планируется серьезная.

Поросенка Серафима все-таки купила, принесла, пустила в стайку.

— Еще одна заботушка прибавилась, — рассуждала вслух. — Ладно, как-нибудь, что-нибудь придумаем... До осени продержимся, а там сдадим тебя, Бориска, в горбылкооп!

* * *

Красная, Октябрьская, Северная улицы составляли околоток городской окраины. Незадолго до войны из не приметного поселка лесорубов Кедровый превратился в бурный ссыльный лагерь, куда с Урала и России везли для «перековки» дядины ребята строптивых раскулаченных крестьян. Трудпереселенцы — так их называло местное начальство — работали на лесозаготовках, осваивали землю, рыбачили, охотились, обзаводились семьями и потихоньку строились. Северная улица волей исполкомов оставалась в первоизданном виде шестой десяток лет — с теми же убогими бараками на затененной стороне, что возводились впрок для прибывающих, тесовыми сараями, сколоченными наспех. Бараки обветшали, вросли по окна в землю, крыши скосбочились. Там обитали в основном наезжие сезонники — люди бес семейные и шумные, с этим бесшабашным контингентом жители «серьезной» четной стороны старались не общаться.

Дом Серафимы на три комнаты — бывшая контора леспромхоза, куда они с Матвеем устроились рабочими

сразу по прибытии в Кедровый в пятьдесят шестом году, — стоял в ряду трухлявых, неказистых изб и домиков на четной стороне искривленной улицы, изрезанной логгами и оврагами, сбегаящей по склону рыжего холма к зеленой речной пойме. Бывший кабинет покойного директора служил просторной горницей, кухней и прихожей — архив и бухгалтерия, а производственно-технический отдел сдавался постоялице. Светлые березы под окном, что посадил Матвей в год возвращения в места, где отбывал свой срок после войны — семь лет по странному, неясному ей делу — да было ли оно? — муж про то не вспоминал, не распинаясь в объяснениях, — березы вымахали выше проводов, шумели на ветру...

Справа по соседству стоял сосновый дом Гусаровых, слева пригорюнилась развалюха умершей от рака ворожеи Клюквихи. За огородами широкой полосой вдоль грунтовой дороги, ведущей через кладбище к подсобному хозяйству, тянулся захламленный, обломанный кедрач, в разбойнических вырубках которого виднелась высушающая Невлевка.

Был жив Матвей — забот не знала Серафима. Муж был и кровельщик, и плотник, сапожник и печник — мастер на все руки. А умер — холодом пахнуло. Печка развалилась, стены накренились, потолок провис. Где не побывала в поисках сочувствия и помощи, сколько слез напрасно пролила, нервов помотала! Не тропу — дорогу проторила в исполком. Плакала, просила, умоляла: сделайте ремонт. Зампреда прокляла. Гладкий, розовый, вальжный, в лиловом с блестками костюме, сидел как изваяние. «Ремонту дом не подлежит — вот заключение комиссии!» — тряс перед носом Серафимы бумажкой с гербовой печатью. «Хоть комнатенку дайте где-нибудь!» — просила, отстраняя ненавистную бумагу. «Фронтоников не можем обеспечить!» — «Так разве мой не воевал?» — «Ну, воевал, мы знаем, ну так что? Он теперь, простите, квартирой обеспечен». — «Он-то обеспечен, а мне-то как же быть?» — «Ну потерпите, может статься, пустим вас под снос, тогда придется выделить жилплощадь...»

Серафима цеплялась за последние слова: «Так, значит, есть у вас жилплощадь?» Упитанный зампред потел и багровел: «Вот приучила, понимаешь, вас Советска власть! Все-то дай вам! Дай! Дай! Дай! А где мы вам возьмем? Вы сколько лет на Севере живете? Так где вы были тридцать с лишним лет? О чем и чем, простите, думали? Кто вам виноват, что не умели жить?» Это «кто вам виноват?» звучало как пощечина. Серафима плакала. «Жаловаться буду!» — грозила от обиды и бессилия, прекрасно понимая, что сам Иисус Христос — спустись сейчас на Землю — не поможет... Нет-нет да и являлась мысль о переселении на родину, в Камышинку, где доживали век двоюродные сестры и младший братец, Парамон; являлась, тотчас отпадая, ибо не ближний свет Камышинка и переезд влетит в копейчку.

3

На годовщину поминки по Матвею не справлялись — Серафима приболела. А вышла из больницы — напекла блинов и разнесла по околотку.

Но в последнюю неделю снился ей Матвей. Желтушным, исхудалым, раздражительным. Каким вернулся из больницы помирать.

И Серафима днем зашла к Гусарихе.

— Матвей в обиде на меня, поминок просит настоящих. Сегодня сон видала нехороший. Попросил поесть, и я окрошки поднесла. Он так-то, Феня, осерчал, так-то осерчал! «Я есть хочу, а ты мне квасу. Ты дай мне холодца!» И чашку по столу пустил... В пятницу три года исполняется, так что соберу-ка мужиков, пускай помянут как положено...

* * *

В поисках спиртного обошла все «точки». Давали в «ямке» — под горой. Очередь тянулась метров в пятьдесят, бухла, разрасталась. В ее распущенном хвосте роп-

тали на дурацкие указы, ругали власти и милицию. Небритые верзилы с красными похмельными глазами с восторгом и, казалось, диким упоением вбуривались в грудь разномастных тел, сметая слабых и несмелых...

И вдруг раздался вопль. Очередь отпрянула, рассыпалась в испуге, явив народу Веню Полиглота. Тщедушный мужичок в отрепьях и лохмотьях сидел на четвереньках, одной рукой со скрюченными пальцами шаря по земле, впитавшей, точно губка, пролитую водку, другой сжимая горлышко расколотой бутылки. Губы у несчастного тряслись, в глазах застыл животный ужас...

Веню знал весь город. В Кедровый он приехал с неразлучным другом Ангелом Кудрявым — хантом из Березова. Оба собирали порожние бутылки, питались чем придется, одевались в то, что изредка давали мужики, одаривала мусорная свалка. Летом ночевали в новостройках и сараях, зимой — на аэровокзале. Милиция от Вени отмахнулась, бичи держали за блаженного. Был слух, что в молодости он закончил институт, владел английским и французским, директорствовал в школе, но был уволен за скандал в роно...

Полиглот сидел на четвереньках и, как ребенок, всхлипывал, размазывая слезы по грязному лицу. Толпа вдруг всколыхнулась, громынула хохотом, стремительно сомкнулась в безудержном порыве к желанному окну...

— Что же это делается? С ума сошел народ. Нет на нем креста и нет в нем сострадания! — испуганно шептала Серафима, ошеломленная невиданной картиной стадного безумия. Выстояв в хвосте колышущейся очереди добрых два часа, утратив слабую надежду достояться, торкнулась к окошку.

— Ребятки, славные, пустили б баушку вперед... Водки нужно на поминки!

— Сколько, бабка? Ящик, два?

— Бутылок пять, ребятушки!

«Славные ребятушки» заржали жеребцами.

— Там всего-то и осталось губы помочить!

Серафима догадалась, что сглупила.

— Пару штук, ребяташки, много не возьму! — сунулась вперед, но ее, как щепку яростной волной, выбросило в сторону. Она споткнулась и упала. — Звери вы — не люди! — вскричала со слезами на глазах, дрожа от боли и обиды. — Чтоб вам захлебнуться, ненасытным! Чтоб вы погорели от нее! Бабка просит не на пьянку, а на дело!

Очередь смеялась незлобиво:

— О живых, бабуська, думай. Мертвые свое отпировали!

В тенечке, в окружении затаренных бичей, «французил» Веня Полиглот, уже повеселевший. Под гогот пьяных мужиков шныряли верные подружки Галя Парфюмерия и Машка Быстроход...

Серафима побрела на остановку, припадая на ушибленную ногу.

У аптеки встретила с Сотниковой Тосей, заведующей пятым магазином. И Серафиму осенило: нельзя ли через Тосюшку достать? Как-никак почти своя. Сын до армии два года с ней ходил и после жил в открытую два года. Но — дурья голова, умный от добра добра не ищет, — взял да и уехал, скрыл, что называется, глаза. В Тюмени после института связался с разведенкой, с прицепом ее взял, остался в примаках. Сказал, что расписались, но свадьбу не играли, жил пятый год — своих детей как не было, так нет. Серафима чуяла: не ладится у них. Та — разведенка — баба ушлая. Капризная и властная. Не из простой семьи: отец — зампредавателя какого-то Совета, мать — по торговой части, а брат — кооператор. А Генка, он — пентюх, из таких, как он, веревки бабы вяют. После похорон с неделю побыл дома, даже к Яшке, другу, не зашел, а перед тем, как улететь, собрался на рыбалку. «Схожу, — сказал, — на Невлевку, удочкой побалуюсь». Ушел, и — до утра. Какая там рыбалка! У Тоси ночь провел. Мать ведь не обдуришь. Она тогда смолчала, вроде не допетрила. Бог ему судья. Да и Тосю жальче, чем ту кралю. Кто Тосюшка теперь? Не вдова, не разведенка. До сих пор не замужем. Вот уж не везет! С Тосей бы чего не жить? Жен-

щина опрятная, молча не пройдет, всегда приостановится, расспросит, как да что, о здоровье справится, о Генке... Думает о нем. Хорошая бабенка!

Серафима ласково пропела:

— Тосюшка, роди-имая, с ходу не признаешь. Цветешь-то, девка, а? Все и хорошеешь!

Тося вяло отмахнулась:

— Какое там «цветешь!». Неделю на больничном. Воды холодной напилась — ангина прицепилась.

— Вот ведь незадача! А я к тебе по делу хотела обратиться.

— Что у вас за дело?

— В пятницу Матвея помянуть хочу, а в доме ни граммульки. И где достать, ума не приложу. Хотела выстоять под горкой, да разве достояться? Чуть не затоптали.

— Серафи-има Ниловна! Под горкой вам не взять.

— А что же делать, Тосюшка?

Тося призадумалась.

— Зайдите завтра в магазин... Вечером попозже.

— Вот спасибо-то, родная, выручишь меня! Дай Бог тебе здоровья и муженька разумного!

4

К поминкам Серафима приготовилась заранее. Вымыла полы, подбелила печку, в горнице сменила занавески. Наделала кутьи и киселя, картошки отварила.

Утром спозаранку прибежала расторопная Гусариха, вдвоем в четыре сковородки напекли блинов. Ефим принес шматок свиного сала, вяленых язей. Сходили днем на кладбище. Серафима всласть нагосилась, в оградке прополочила лебеду. За упомин Матвеевой души обнесла старушек угощением. От слез и хлопотни суматошных дней разом обессилела и сникла, вернулась утомленной и опустошенной. В доме верховодила Гусариха: шуровала в печке, гремела сковородками, бренчала чашками и ложками, руководила Леной и Ефимом. Стоя отстраненно у стены, Серафима наблюдала за распаренной соседкой. Стрях-

нув оцепенение, бралась то за одно, то за другое, третье, но все валилось у нее из рук, все делалось не так, не к месту и некстати. Гусариха в конце концов взмолилась:

— Симуня, отдохни, без тебя управлюсь!

И Серафима подчинилась. Вышла на крыльцо, зажмурилась от солнца, бьющего в глаза...

* * *

Прав Ефим Гусаров: жизнь становится как в сказке — чем дальше, тем страшней. На пенсию не больно похикуешь. Во вторник получила семьдесят рублей, села, стала думать, как распорядиться этими деньгами. Пятерку — за квартиру. За электричество пятерку приготовь. Вроде экономишь, света лишний раз не включишь, сидишь, как сыч, впотьмах, а все же набегаёт. И как не набегит? Холодильник сутками урчит, телевизор включен каждый вечер — то кино, то передача интересная. Квартирантка по ночам в учебники глазеет — вечер-то прошлендаёт. Кипятильник, самовар, утюг — вот и набегаёт, как ни экономь. За газ три сорок отсчитай — не забыть бы выписать квитанцию, баллон уже кончается... За радио, за воду. Копеечка к копейке — вот и набирается, остается с пенсии грош да пятачок. Живи, пенсионерка, припеваючи. Не хочешь запоешь...

На прилавках шаром покати, как корова языком слизнула. Талоны отоварить — проблема из проблем. С раннего утра дежурь у магазина. Когда и продают, так вместо мяса бросят, как собаке, кость да сухожилия — бери, не возмущайся, слова не скажи — тебя же и облают, если заикнешься. Все торгаши-то нервными поделались!

Нет, как ни поверни, а огород спасает, вся надежда на свой огород. Снесут весной, что делать? Караул кричать? С сумою подаваться?

Возрадовалась, дурочка, квартире. Да на хрена б она нужна! Хоть на карачках, но в Камышинку придется выбираться...

К вечеру народ стал расходиться. Первыми откланялись чопорно старухи в траурных платках. Крестьясь и шелестя ниточками губ, потянулись к выходу. За ними, глянув на жену, встал Ефим Гусаров. Затем поднялись, словно по команде, ВОХРовцы — Матвеевы друзья и сослуживцы. Достали из карманов папирсы, направились к порогу. Расходились не хмельные, но уже не трезвые — в том чуть подогретом состоянии, когда, чувствовалось, был необходим хороший посошок для завершения.

— Что ж вы раненько поднялись? Посидели бы подольше, выпили б по стопочке еще! — И Серафима поднесла бы, но властная Гусариха, сомлевшая от жара, резко перебила, в краску Серафиму вогнала:

— Посидели, помянули, пора и закругляться!

ВОХРовцы смешались. Старший — полный и седой — начальник караула торопливо подал руку, вышел за порог. Ушли и остальные.

— Зачем ты, Феня, сказанула? — смутилась Серафима. — Мало ведь, наверно, мужикам. Кабы не обиделись. Водка-то осталась, чего ее жалеть? Для дела и брала.

— Водка не прокиснет, — буркнула Гусариха, — в магазин снесешь, на деньги обменяешь. А не обменяешь, в дело обратишь. Нынче водка — деньги, а деньги — не в цене.

— И все же бы помягче с мужиками. Неловко как-то, Феня. Прямо хоть сквозь землю провались...

— Стыдливая какая! Ей, видите ль, неловко. А им, опойкам, ловко? — Гусариха кивнула на заборку, за которой в горнице все еще сидели Яшка Шнайдер — Генкин друг — и незнакомый Серафиме головастый мужичок по прозвищу Шуруп. — Кто-то с чистым сердцем помянуть пришел, а эти — нализаться. Гони их, Сима, в шею! Нечего тут праздновать!

Маленького роста, в застиранной футболке, Шуруп сидел, по-барски развалясь, на мягком стуле, с пьяным превосходством поглядывал на друга. Когда три часа назад они ввалились с улицы, Гусариха наброси-

лась на Яшку, намереваясь выпроводить с боем, но Серафима не позволила: «Грешно с поминоков выгнать! Пусть уж посидят — не обопьют. Яшка мне добра поделал много. Если бы не он, не знаю, как бы зиму перебилась: и дров привез, и поколол...» — «А ему удобно пьянь сюда вести? Думал, кого вел? Этот головастенький на «Куликовом поле» возле пивной бочки днюет и ночует. Как приедет с буровой, так и фестивалит».

«Пусть, Феня, посидят», — уперлась Серафима. Она поставила греть воду для мытья посуды, и в это время Яшка выдал:

*Мне Мар-рус-ськина подружка
Как-то в мутор-рной пивной
Сообщила, выпив кр—р-руж-жку
Пива с пеной нез-земной...*

— Плясать не вздумали б, поганцы! — Гусариха метнулась кошкой в горницу.

Перед незванными гостями стояли недопитая бутылка, до краев наполненные рюмки, на блюдечке с кутьей дымилась папироса. Яшка пел усердно, трудно. На высоком потном лбу взбугривались жилы, нос и шея побурели от натуги, влажные глаза блуждали по столу.

*...Сообщила мимоходом
И пр-р-рищуря хитр-рый глаз,
Что у Машки Быстр-рохода,
Дескать, девка р-родилась...*

Он тупо поглядел на Серафиму. Шуруп с готовностью привстал. Гусариха уткнула в бока руки. Лицо, пунцовое от жара, покрылось капельками пота.

— Вон отсюда, нехристи!

Мотнув небритым подбородком, Яшка уронил на грудь всклокоченную голову, отпал на спинку стула. Шуруп приблизился к Гусарихе. Приняв, видимо, ее за хозяйку дома, с пьяным умилением расшаркался.

— В-фсе н-на этом свете гости, в-фсем ящик уготован! — Он, оказалось, заикался, и, заикаясь, дребезжал мясистыми губами, брызгая слюной, кривясь и морщась

от усилий выговорить слово. — П-премного б-благодарны, было че к-кирнуть, з-занюхать... К-красиво п-посидели!

— Да что ж вы делаете, а? Среди людей вы не живали? Кто же на поминках благодарствует? Ступайте уж, ступайте по-хорошему!

Шурупа проводили. Яшку уложили в сенцах на полу. Он приподнял остекленелые глаза, пустил по подбородку длинную слюну. Поджал колени к животу, повернулся на бок. Всхлипнул и затих.

Серафима и Гусариха сели на крыльцо, дух перевели. У Серафимы на глаза навернулись слезы.

— Что б я без тебя делала? Спасибо, добрая душа. Вовек не позабуду.

Гусариха беспечно отмахнулась.

— Придержи, Симуня, слезы — слезы пригодятся впереди. Давай-ка лучше почаюем. Целый день протанцевала у плиты — во рту росинки не держала... Кишка кишке от голода сифонию играет.

Поставив самовар, выпили по стопочке. Сбросив напряжение суматохи дня, Гусариха смягчилась, лицо взялось мечтательным румянцем.

— А мне так все не верится, что нет мово соседа... Сижу иной раз у оконушка, на улицу гляжу — вот, думаю, Матвей пройдет с рыбалки!

— Теперь уж, Феня, не пройдет. Проглядела глазоньки.

5

Утром разбудил стук в сеничную дверь. Стучали тихо, но настойчиво.

Проснулась квартирантка, включила свет в прихожей.

— Кого в такую рань приперло?

Серафима, морщась от досады, набросила на плечи выцветший халат, прошлепала босая к сеничной двери.

— Кто там?

С крыльца не сразу отозвался сиплый голос:

— Я... Открой, тетя Сим.

— Кто — я?

— Да Яшка Шнайдер... «Кто!»

— Вот еще лунатик объявился! В одиннадцать чуть живенький уполз, в шестом часу опять нарисовался. Чего забыл? Пошто тебе не спится?

— Впустишь или нет?

Серафима сбросила с петли дверной крючок.

Яшка на негнущихся ногах проплелся за ней в кухню. Плюхнулся на стул и, обхватив руками голову, глухо застонал:

— У-у-ух, тяжело мне, тетя Сим! Ты не возражаешь, если посижу?

Серафима почему-то перешла на шепот:

— Что случилось, Яша? Что тебя пригнало спозаранку?

Яшка оторвал ладони от висков, вымучил улыбку...

Он был в синих трикотажных брюках, в дырявой безрукавке, в тапочках на босу ногу. Щетинистая кожа серых, без кровинки, щек и шеи обтягивала остро выступающие скулы, скачущий кадык. Открытый лоб блестел испариной, из-под набрякших век слезились тусклые глаза.

Серафима напряженно всматривалась в Яшку, сердце наполнялось болью и тревогой...

Когда он после армии приехал по вербовке и получил клетушку в бараке наискось, в свой первый выходной поехал на рыбалку с Генкой и Матвеем. Серафима полюбила делового Яшку, ставшего к тому же лучшим другом сына, ставила в пример его неразбалованность. «Вот, — говорила Генке, — вырос без родителей, в детдоме, но человек самостоятельный, голову имеет на плечах, худое к парню не прилипло».

Шло время. Яшка получил квартиру в новом доме. Вскоре и женился. Но ненадолго он покинул Перековку. Года через три столкнулись в пятом магазине. Стоял в промасленной фуфайке, в грязных сапожищах. «Теть Сим, не узнала?» — «Я-яшенька, родной! Конечно, не узнала. Уж больно изменился. Постарел. Замызганный какой-то... Жена чего не обстирает?» — «А нет, тетя Сим, жены. Порвались узы брака. Законный холостяк». — «Да как же, Яша, так?» — «Да так

вот, тетя Сима! Вернулся в свой барак, в любимый околоток!»

Вернулся. Покатился. И вот уж дальше некуда...

— Страшно мне, тетя Сим, вот какое дело... Лежу в своей берлоге, сплю, не сплю — не понимаю. Нутро горит, башка трещит, в ушах мелодия... Думал, радио играет. Вырубил его, а музыка... звучит. И вроде разговаривает кто-то. А кто, когда один? И вот, тетя Сим, вдруг слышу голос: «Иди ко мне, я пожалею». Мамин голос, представляешь? Глаза ее забыл, а голос помню... Страшно стало одному. — Яшка облизнул спекшиеся губы, мрачно усмехнулся. — Сердчишко как плохой мотор, того гляди заглохнет. В глазах, тетя Сим, потемки. Хуже не бывает. Хуже — уже крышка. Так что выручай.

— В башке твоей потемки! Выпить, что ли, просишь?

— А то не понимаешь!

— У вас, у алкашей, хоть капля совести осталась?! — влетела в кухню квартирантка. — Вы что себе такое позволяете? Ни днем, ни ночью нет покоя... Взашей его гоните, Серафима Ниловна!

— Брысь отсюда, мокрохвостка! — поперхнулся Яшка.

— Лена, не встревай, сами разберемся, — осадил Серафима. — Нету водки, Яша. Все, что было, выпили.

— Так уж не осталось?

Серафима неуверенно кивнула, Яшка уловил в ее глазах сомнение. Просительно шепнул, стыдясь своей настырности:

— Граммулечку, тетя Сим!

— Ведь на работу тебе, Яша. А если остограммишься, какой с тебя работник? Ты и так чуть жив. Не водки жалко, а тебя... Красивый, молодой. И — умный, Яша. Знаю. А водку хлещешь, как ханыга. Разве это дело? Сопьешься, сдохнешь под забором. Или — за высокую ограду попадешь. Немножечко осталось — до музыки допил. Остепенись, пока не поздно.

— Такой я тоже не жилец.

— Тебе сейчас не водки — чаю б. Крепкого, горячего. Или поесть чего-нибудь. Давай-ка я споровю!

— Не поминай мне о еде. Какая мне сейчас еда, когда трясет, как эпилептика.

— Вот почему Матвей-то мой ума не пропивал? Он, если и напился, в праздник не без этого, наутро к рюмке не тянулся. Отлежится, откатается — снова за работу. Генка тоже почему-то в пьянку не ударился. Вот почему, ответь мне. Да потому, что интерес имелся к жизни, цель какая-то маячила.

Яшка не стерпел, взмолился мученически:

— Да брось, тетя Сим, нотацию читать! Какая к черту цель? Нажраться до отвала? Наготу прикрыть? Цель! Цель! Цель! Заладили, как попки. Была когда-то цель. Была, да заржавела. Не надо тыкать в небо, когда нос в дерьме. Баста. Все. Закроем тему.

— Тебе жениться нужно, вот!

— Пройденный этап. Она, сучара, с кобелями в кабаках гудит, а дочка беспризорная. Каб я не пил, давно б девчонку отсудил.

— Вот тебе и цель!

— Кто мне ее присудит? Куда ее? В барак?

— Сейчас, конечно, не присудят. — Серафима извлекла из холодильника бутылку, поставила на стол. — Пей, хоть захлебнись.

Взгляд у Яшки просветлел. Он взялся за бутылку — руку повело.

— Теть Сим, отвернись...

— Надо ж, устыдился!

— Ну отвернись, не издевайся.

Серафима отвернулась. Яшка отражался в кухонном окне. Наполнив стакан водкой, обеими руками поднес его ко рту и, конвульсивно вздрагивая, крупными глотками выпил, обливаясь, без остатка, обмяк и грудью лег на стол, дыша размеренно и тяжело.

— Вроде прокатилось...

— Пожуй, а то сомлеешь.

— Постой, тетя Сим, не торопи процесс.

— Какой еще процесс?

— А превращения обезьяны в человека! — Яшка горько усмехнулся. После полного стакана его прошиб обильный пот.

— Ты еще не обезьяна, но уже не человек. Тебе лечиться нужно, вот.

— Чем я сейчас и занят. Еще стопарик опрокину и — здоров как бык. Во лекарство, а, тетя Сим? Вроде от нее, заразы, заболел, и она же вылечит. А ты мне тут про чай да про жратву!

Серафима неожиданно вспылила:

— Больше не подам, хоть запросись. Ты и так осоловел, добавишь, значит, не работник. — Она решительно смахнула бутылку со стола, поставила на место. — Ступай и собирайся на работу.

— Уговорила. Так тому и быть. — Яшка приподнялся, пальцем поманул. — Я за добро добром плачу, ты ведь меня знаешь... Осталась водка-то с поминок?

Серафима огоршенно сморгнула.

— Какая водка, Яша? Ты что, совсем свихнулся?

— Давай, тетя Сим, рассудим здраво... Тебе какая разница, куда ее девать? Ну, отнесешь в магазин, вернет тебе Тося по чирику с банки и ни копейки сверху. Ну и какой интерес? — Яшка заключил многозначительно. — На твоём-то месте я б озолотился. Водка — это деньги... Уразумела, нет?

— Озолочайся, кто тебе мешает?

— Каб я не пил! А ты подумай. Надумаешь, скажи. Клиентов обеспечу.

— Каких еще клиентов?

— «Каких!» Таких, как я. Не прогадаешь.

6

Вечером, смочив водою полотенце, Серафима туго обвязала голову, разулась на меже и взялась на тяпку...

Огородом Серафима дорожила. Сколько в него вложено труда и капиталу, кто бы посчитал! Матвей-покойник, бывало, каждый год возил на тачке с птицефабрики помет, навоз с молочной фермы, из печек выгребал золу. И все давалось не за так, не за спасибо доставалось: тому бутылочку поставь, того деньгами ублажи. Подумаешь, как бросить!

Вопреки двухнедельному зною картошка кустилась веселой ботвой. Водоразборная колонка находилась рядом, за углом барака. Матвей вкопал трубу в канаву вдоль асфальтовой дороги, провел водопровод. Серафима поливала не только многочисленные грядки, но в последнюю неделю и картошку. По времени ее пора было окучевать, но уповала на дожди. Жара, однако, не спадала, прогноз не обещал спасительных осадков — ботва могла перерасти: к кустам не подступиться, не развернуться с тяпкой на меже.

Ей за глаза хватило б сотки — на семена и на еду. Но и нынешней весной засадила три. Половину урожая продавала горрыбкоопу, платили там не больно щедро, но машину загоняли прямо в огород, грузчиков в придачу присылали. Третью огорода занимали грядки и теплица. В теплице бурно разрастались огурцы, шершавые листья всю тянулись к свету, густая завязь радовала глаз. В стеклянных банках на полу крепла помидорная рассада. На грядках, следующих в ряд по обе стороны дорожки, ведущей в глубину двора — к сараю в зарослях малинника, торчали перья лука, светлой зеленью кудрявились морковка и укроп, стелились бархатным ковром петрушка и салат, соком наливалась садовая клубника...

После слезного скандала в исполкоме Серафима стала замечать, что рассуждает вслух. В пустой квартире потихоньку расслаблялась, пила горячий чай с рябиновым вареньем (для упреждения склероза) и продолжала разговор с воображаемым зампредом: «Кабан семипудовый! Ряшку-то отъел — на трех кобылах за день не объедешь. У самого небось дворец, а не квартира, и уж не зковский барак. Не думаешь о том, что потолок на голову обрушится, и у жены, поди, заботы нет, что на обед готовить. В цы-то приспособитесь, вы не пропадете! Вы — не мы, иваны-дураки!... И как язык-то повернулся упрекнуть, что не умели жить? Вы же нас учили. Всю жизнь преподавали, как нам, глупым, жить. Вы — кресловики! Все вы одинаковы, хоть под какой личиной, одну и ту же песню пели. Что при Сталине бедовом, что при Ни-

ките непутевом, что при Лене-недотепа, что при нынешнем рисковом... В одну дуду играли-пели, а теперь заговорили. Вот уж перестроились!» — Серафима увлеклась, и, удивительное дело, находились нужные слова, которых не нашлось в горисполкоме. Когда досада на беспомощность доводила вновь до белого каления, легко, непринужденно складывалась речь, которая держалась в голове, пока не засыпала...

Случайный разговор с опохмеленным Яшкой ей не давал покоя:

— Ах сукин сын! Пройдоха! На что, поганец, намекал? «Я б озолотился!», «Клиентов обеспечу!». Ведь это он на спекуляцию толкал. Додумался, паршивец. Не то чтоб спекулировать, свое продать за цену не умею... Сколь за спасибо раздала. Той же вот картошки. Придут с бадьей: «Насыпь, тетя Сим!» Картошка есть, неловко отказать. Были б незнакомые, а то ведь перековские. Матвея знали все. Насыпишь бадью с горкой: «На». — «Почем, тетя Сим, ведерко?» Будто бы не знают, почем оно на рынке. Махнешь рукой: «Неси. Кушай на здоровье...» А тут явился с предложением. И как на ум взбрело такое?

Земля сухая и горячая, как пепел, обжигала голые подошвы, сверху припекало, и через час-другой ходьбы в наклон голова у Серафимы разболелась, зеленые круги пошли перед глазами. Шатаясь от болезненной слабости в ногах, зашла в затемненные сенцы и в ожидании на ужин квартирантки прилегла на раскладушку.

* * *

Проснулась вдруг от легкого хлопка. Сеничная дверь была раскрыта настежь. Смеркалось. Мелкой блеклой россыпью на темном небосводе проступили звезды. В кухне кто-то был. Под мягкими шагами скрипели, прогибаясь, половицы, дзинькнула посуда на столе.

Серафима приподнялась на локте.

— Лена, кто там у тебя?

Из кухни вышел Яшка. Взлохмаченный, с отеками под глазами. Костистыми руками уперся в обличку.

— Здравсте, это я. Кре-епенко мы спали!

Серафима соскочила с раскладушки.

— Чего перепугалась? Свои. Свои, тетя Сим.

— А Лена где? — спросила невпопад.

— Спроси, когда вернется. Я этой мокрохвостке не пастух.

Облегченно выдохнув — все же не ворюга! — Серафима напустилась:

— А ты чего тут шастаешь? Тебе кто открыл?

— Тихо, не шуми. Закрывать нужно. Легла, и двери настезь. Заходи кто хочет. Только так обчистят!

— Бессовестный ты, Яшка! — вспылила Серафима. — Опять ведь пьяный в стельку. Залил шары и бродишь, соседей беспокоишь. Я кто тебе, в конце концов? Подружка? Машка Быстроход? Чтоб больше не видала. Ступай домой, проспись!

— Один момент, тетя Сим! — Яшка артистично рухнул на колени, сложил молитвенно ладони. — Ты мне, тетка Сима, больше чем родня. Ты — мой ангел-похмельитель. Там, — кивнул на кухню, — малость в холодильнике стояло, так я... того, употребил... За что тебе сыновнее спасибо.

Серафима обессиленно вздохнула.

— Что тебе сказать на это? Потерял ты, парень, стыд и совесть. Словами не проймешь. А потому предупреждаю: явишься еще раз в скотском состоянии и, не дай Бог, ночью, вызову милицию. Схожу к Гусаровым и звякну. Хочешь — обижайся, хочешь — нет. Вот тебе мой сказ последний. Забудь сюда дорогу.

Яшка мрачно усмехнулся и поднялся. Сунул руку в карман брюк, достал оттуда смятые бумажки.

— Вот тебе полстольника. Это — за товар. За опохмелку — чирик.

Серафима отстранила протянутую руку.

— Какой еще товар?

— Я ж не просто так пришел, должна бы догадаться. Пузырь мне нужен дозарезу... Шуруп ко мне пожаловал.

Приехал с буровой, принес флакон трехзвездного. Выпили, но мало. Гость-то заводной да еще при деньгах. Иди, кричит, достань где хочешь, хоть из-под земли. А где ее достать? Кабак сегодня выходной, такси порожняком. Вся надежда на тебя... Осталась еще водка-то?

— С ума сошел. Рехнулся. Вчера еще сдала!

Яшка засмеялся.

— Врешь. Нехорошо-о! Водка — рядом, в рюкзаке. Пять боеголовок. Я уже разведал. Мог бы втихаря, но я ведь человек.

— Пропойца ты — не человек. Вон отсюда, непутевый! — Серафима вспыхнула как порох, толкнула Яшку в грудь.

Но Яшка вдруг уперся. Ухмылка улетучилась с лица, кадык вверх-вниз под кожей запыгал.

— Вот же сумасшедшая! Мало предлагаю?

И оробела Серафима. «Да где же Леночка осталась? Он ведь не отступится, добьется своего. Опять трясется с перепоя... Страшный стал, как зверь!»

— Разве что для гостя? — сказала неуверенно. — Врешь, поди, про гостя?

— Чтоб до утра нам не добавить!

— Так и быть, одну продам. Остальные завтра отнесу. И больше не рассчитывай. А деньги убери, они тебе не даром достаются. Десяточку оставь, остальные спрячь.

— А ты, тетя Сим, чужие не считай. Дают — бери и складывай. Шуруп сегодня с круглыми карманами, бабки не считает. Пока не прогудит, душа не успокоится — натуру его знаю.

Серафима волоком придвинула рюкзак.

— Бери и уходи.

— Иду... А ты подумай. Надумаешь, скажи.

— Опять ты за свое? Да чтоб ты провалился, окаянный!

* * *

Ночь стояла тихая и светлая — самая короткая в году. До утренней зари сидела Серафима у окна, о чем не пе-

редумала. Шестьдесят шальных рублей лежали перед ней. Почти что месячная пенсия...

«Еще бутылочку продать — вот тебе и деньги на билеты. Шестьдесят да тридцать — девяносто рэ. Батюшки мои, вот где золотое дно. Прибыток будь здоров. Мечтала ль о таких деньгах за здорово живешь? С одной-то стороны, вроде бы и грех. Можно ль наживаться на чужой беде? Ведь они, пропойцы горькие, с вечера штаны за стопку отдадут, а поутру-то каково? Больные, и без денег. С другого боку подойти, все равно найдут, чего напиться. Как ни бьются, к вечеру напьются. Яшка не найдет? Из-под земли достанет. Не у нее, так у другого. Не водки, так одеколону. Пьют ведь все, что пьется. Продать ли, что ли, остальные? На дорогу?»

7

Утром после чая отправилась к соседям за советом. Но не ко времени пришла...

Гусариха сияла и цвела, словно вдруг помолодела лет на двадцать. Легкой сделалась походка, быстрыми и четкими движения. Глаза лучились теплым светом...

— От Катьки телеграмму принесли — с датой дочерь поздравлят! Сорок лет с Цыганом прожила! Боже, сорок лет! — кивала на Ефима.

Курить Ефиму разрешалось только в сенцах, но сегодня он дымил вонючей папиросой, изредка косясь из-под крутых бровей на благодущную жену. С сапожною иглой и смоляными нитками в руках сидел на корточках у печки и ремонтировал к охоте кожаный подсумок...

— Он парнишкой смуглым, кучерявым был. В Рямовке, где жили, звали Цыганенком, а подрос — Цыганом окрестили, — ушла в воспоминания Гусариха. — Он сам привык к такой кликухе. Ефим — окликнешь, — ноль внимания, а на Цыгана отзовется. На гармонии с малолетства насобачился играть, у них в роду все были гармонистами. Сопливым еще был, в одной руке — калач, в другой — яйцо вареное, а на пупу гармонь елозит. Пили-

кал да пиликал, да так, Симуня, наловчился, что взрослых всех перепиликал. На пятачки и вечеринки стали приглашать. Скликаешь, бывало, девок на гулянку, а девки в один голос: будет Цыган играть, так придем, а не будет — делать нечего. На свадьбы первым гостем приглашался, во все компании тянули нарасхват. Не спился, слава Богу, — война, наверно, помешала. Мы до войны почти не знались: здравствуй да прощай. Не думала, что с ним судьба сведет. Ушел он на войну. Ушел да и пропал. В Германии застрял. Потом уже узнали, что в Германии, тогда все думали — убитый. Ну вот... Играют гармонисты, да что-то все не так, душу не берет. Цыган, бывало, развернет — мертвого подымет... Вот уже пийсятый. Зимой лежу на печке — то ли праздник был какой-то, то ли, как сегодня, выходной — слышу: на задах гармонь взыграла. Сердце, Сима, дрогнуло. Дыханье затаила — наяривает гармонь! Сестрице говорю: «Нюська, ведь Цыган играет!» Та на меня как на больную: «Какой тебе Цыган? Цыган давно пропал» Молчу, а сердце бух-бух-бух! И что, Симуня, думаешь? Не усидела на печи. Скок с верха долой, за пимы схватилась. Тятя: «Ты куда?» — Я: «Тятя, до гармошки. Ведь Цыган вернулся!» Тятя заругался: «С тобой все ладно, девка?» Я дверью хлоп и — ходу... А он сидит себе, христовенький, народ вокруг собрался. Посреди зимы! Во как, девка, было дело. Во какая встреча!

Историю о том, как через восемь лет Гусариха узнала по игре Ефима, Серафима слышала не раз и знала б наизусть, не вспоминая соседка новые подробности...

— Чем дырявить свой подсумок, лучше б поиграл, а мы, глядишь, потопали б, косточки б размяли, — бросила Гусариха Ефиму. — Сто лет гармонь с комода не сымал, зря тебя хвалила!

— Боюсь, оттопали свое, — сказала Серафима. — Ноги еле волочу — опухли на жаре, стали как столбы. По ночам в суставах ломит — спасу никакого, мази не берут.

— Кто, сказал, оттопали? — дурачилась Гусариха. — Как еще и спляшем! Ефиму стопку поднесем, он нам подыграет.

— Пусть вам Заволокин подыграет, он без стопки добро шпарит.

— Ага, — кивнула Серафима. — Я вот погляжу на братьев Заволокиных, как они гармонию пропагандируют, птахой улетела бы в деревню. У нас в Камышинке под Омском были гармонисты — вашим не уступят.

Ефим закончил свою мысль:

— А мы с тобою, Феня свет Даниловна, споем, когда отстроим дачу. Сядем на порожке, гармонию развернем и в песняка ударимся... Во когда споем!

Серафима рассмеялась недоверчиво:

— На дачу, что ли, замахнулся?

— Да ну его с его замахами, — поморщилась Гусариха. — Все бы плановал.

— А почему бы нет? — Ефим пожал плечами. — Пока здоровье позволяет, надо успевать. Снесут весной, так закукуем.

— Так ведь в копеечку влетит!

— Влетит, а кто же спорит? Что припасал на черный день, все придется выложить. Я без земли засохну в один год.

Серафима разом сникла.

— Ой, как же я-то буду, а? Вы все-таки вдвоем, дачу смаракуете, все можно продержаться... Я-то буду как? Ни денег, ни здоровья.

— Да что уж убиваться? — вставила Гусариха. — Как-нибудь, чай не война.

— Пойду, — сказала Серафима. — Засиделась я у вас... Кота кормить пойду. Орет, поди, голодный.

Пришла домой, покликнула кота, а кот запропастился. Села на кровать, лицо ладонями закрыла.

* * *

Серафима часто думала о будущем, реже — о минувшем. Но, размышляя о прожитом, раскладывала годы на светлые и черные, укоренялась в грустной мысли: прав был зампредисполкома — не умели жить.

— Вся жизнь, как день, прошла в работе. С одиннадцати лет снопы за матерью вязала, Боже упаси, чтоб в чем-нибудь схалтурить. Сперва за трудодни — за «палочки» в колхозе, потом за жалкие гроши...

Легкой жизни не искала. Замуж вышла в двадцать семь, по деревенским-то понятиям — старухой. За кого пошла, тоже понимала. Матвей был старше на семь лет, только что из лагеря — ни кола ни двора, ни алтына за душой. Уж как в деревне ни стращали: тюремщик он и душегубец, и ужокошит ни за грош, следочка не отыщется. Приехали на Север и жили душа в душу. Хоть от зарплаты до зарплаты, с копейки на копейку — охота да рыбалка выручали, но в мире и согласии. Сам работал в ВОХРе, сидел на ста рублях, она — куда без грамотешки? — в рабочих да техничках. Всего добра нажили — лодку с лодочным мотором, сети да ружьишко. На черный день не накопили капитала. А зря. Ой, зря. Жили, получается, не то чтоб бестолково — вроде по-разумному, но без загляда наперед. Сыт, одет, обут и — ладно. Довольствовались малым, к богатству не стремились. Вот где промахнулись! На что, казалось бы, Матвей, жизнью тертый-перетертый, битый-перебитый, — и тот, бывало, говорил: хуже, мать, того, что было, уже никак не может быть. Хватит, натерпелись...

И как иначе было думать, когда, казалось, жизнь установилась, как погода, ничто не предвещало перемен. В магазинах худо-бедно поесть-попить стояло, одеться выбор был... Чего еще хотеть? Чего еще желать? Кто мог подумать, чем все обернется, что к старости настигнет новая беда?

Прав был исполкомовский бугай: трудиться надо было на себя. Гусаровы давно, видать, смекнули. Вот у кого бы поучиться в свое время. Сиди и плачь теперь горючими слезами...

Из радио на стенке под легкую мелодию вперемежку с птичьим щебетом звучал слащавый голос психотерапевта:

— Чувство усталости покидает тело... Свежеет в голове... На душе легко и чисто...

За дверью завопил внезапно кот.

Серафима проводила квартирантку на каникулы. Проводив, всплакнула в одиночестве...

Квартировала Лена у нее вот уже три года. Пустила постоялицу не столько ради денег, хоть и двадцать пять рублей были ей подспорьем, сколько от тоски и одиночества. Случалось, квартирантка пропадала сутками, Серафима беспокоилась, сосала валидол — время-то тревожное! — звонила коменданту в общежитие, бранилась вгорячах и обещала выгнать, но Леночка глядела на нее козьими глазами, и Серафима остывала...

Яшка Шнайдер (тьфу, тьфу, тьфу да через левое плечо!) вроде бы одумался, вышел наконец из двухнедельного запоя.

Однажды Серафима наведальась в барак, застала горемыку в собственной «берлоге».

Он лежал на низком продавленном диване, накрывшись рваной простыней, и, обливаясь крупным потом, глотал горячий чай, заваренный вкрутую. На тумбочке, застланной газетой, стояли чайник, кружка с желтыми потеками чифирия.

— Живой? — осведомилась Серафима.

— Живой, да мало толку.

Спертый воздух с вонью винных и табачных перегаров волной ударил в нос, и Серафиму чуть не вывернуло тут же наизнанку. Она толчком открыла дверь и отдышалась у порога. Прошла к окну, сквозь черное стекло которого почти не пробивался свет, и приоткрыла форточку.

Яшкиной «берлогой» называлась комната с газовой плитой и умывальником над тазом, отделенными от «зала» грубостругаными досками, забранными в паз, где на ржавых гвоздиках сверху держалось нечто заменяющее штору. Весь интерьер этой «берлоги», прокопченной дымом, составляли стол, накрытый, как и тумбочка, желтыми от давности газетами, два рассыпающихся стула с мягкими сиденьями без спинок, кособокий шкаф с незакрывающейся дверкой, набитый скомканным бельем,

гитара на гвозде и осколок зеркала. Всюду — на полу, в углах, на подоконнике — стояли батареями мутные бутылки, склянки, полные окурков, валялись корки хлеба, бутылочные пробки...

«Все пропил, все промотал! Когда-то любо было глянуть. Чистота, уют, порядок. Ковровое покрытие... А ковер на стенке? А магнитофон?..»

— А где магнитофон? — остановилась Серафима посредине комнаты, увидев на столе пустующее место.

Яшка глотнул чая и отставил кружку:

— Загнал за пару стольников. Без бабок я, тетя Сим... Без бабок, без работы. Две недели фестивалил, работу потерял.

— С чем и поздравляю! Добился своего. Зато с Шурупом нагулялся. Откуда ты и выкопал богатого такого? Нет чтоб подыскать товарища серьезного.

— Только без нотаций! Шурупа проводил. Баста. Надоело. В завязке я, тетя Сим. Вот отдышусь и — за работу. Рабочим в магазин. С Тосей разговаривал — берет на испытание.

— Крепко ль завязал-то? И долго ль развязать? Сколько раз ты зарекался? До первой лишь получки, знаю я тебя. В пятом долго не продержишься, вылетишь как пробка.

— Все, все, все, тетя Сим. В завязке. Решил самостоятельно. Обрыдло по-свинячьи...

— Кабы так оно и было!

Яшка встал с дивана, прошелся до порога.

— А ты по делу или — так?

— Да попроведывать тебя. Дай, думаю, зайду — не помер ли с похмелья? Да и по делу тоже, — замялась Серафима.

— Усек, тетя Сим. Врубился. Будут покупатели. Сегодня же и будут!

Яшка вдруг повеселел:

— Гляжу, за ум берешься, а? Давай с тобой на пару исправляться?

— Чего мне исправляться? Я давно исправная! — Серафима оскорбленно помолчала. — Ну, я пошла. Берись за ум!

— Да по тридцатнику с полбанки! — вдогонку крикнул Яшка. — Копья не уступи!

* * *

Слух о том, что в горсовет обратились верующие с просьбой узаконить православную общину, прошел в Кедровом год тому назад. Молва не удивила околотов: здесь не было секретом, что богомольцы города имели свой молебельный дом. К сборщикам старух и стариков на Перековке относились с недоверием — в памяти всплывали жуткие легенды о проживавших некогда вблизи семьях староверов...

Зимой попала на глаза свежая газета с письмом известного в районе ветерана.

Серафиму удивило не столько содержание письма, озаглавленного броско: «Даешь народу Храм!» — сколько подпись под письмом — к народу обращался старый коммунист, бывший секретарь Кедровского горкома. Бывший аппаратчик каялся в грехах, поскольку в свое время руку приложил к варварскому сносу церкви в южной части города, теперь же, осознав преступность прошлых «подвигов», заново оценивая путь, пришел к необходимости возврата к «истокам» и «корням», призвал вернуться к православной церкви и воссоздать в Кедровом Храм, но не на прежнем месте, оскверненном нынешней пивной, а непременно в центре города, на Советской площади, напротив здания горкома, себе в укор и в назидание потомкам.

Вскоре после покаянного письма состарившегося грешника Лена Дыбина пришла с сияющим лицом: «Серафима Ниловна, что делается, а! В Кедровом будет Храм! Сегодня вынесли решение наши депутаты. Чуть наискосок от здания горкома — на Большом Холме! Вы представляете, какая красотища? Ай да молодчуги богомольцы, добились своего!»

И вновь не столько весть о разрешенном Храме, сколько искренний восторг молоденькой студентки по-

верг в недоумение: «Тебе-то что за радость? В Бога, что ли, веруешь? Что-то непохоже...» — «Так я же отродясь в церкви не бывала... Ужасно любопытно!»

Серафима хмыкнула, взглянула недоверчиво. Вечером к Гусарихе зашла: «Храм им подавай! Тут крыши нет над головой!» — и осеклась на полуслове, вспомнив о «святом письме»...

Листок из ученической тетради, исписанный расшатанными буквами, был обнаружен в сенцах на полу недели две тому назад. В подброшенном письме скупно сообщалось о некоем больном мальчике одиннадцати лет, на берегу неведомой речушки увидевшем Христа и получившем от него послание с наказом девять раз переписать и в три недели разослать по разным адресам. Богобоязненный мальчонка выполнил Христово поручение и был вознагражден чудесным исцелением...

Под страхом всяческих напастей письмом предписывалось сделать то же, что и мальчику с неведомой речушки. Серафима колебалась. И вроде бы не верилось в обещанные кары, наслышана была о подобных письмах, и в то же время понимала: никто не застрахован от беды, тем более она. Взяла у Лены чистую тетрадь, три копии осилила к полуночи. Одну подсунула Гусарихе, вторую надписала Сотниковой Тосе, а третью — сдуру — Яшке. Пальцы занемели с непривычки, отложила переписку в долгий ящик...

Теперь же смутный страх перед неясным будущим заставил вновь вернуться к письмам.

* * *

В десятом часу вечера негромко постучали. Серафима вышла в сенцы.

— Кто?

— От общего знакомого, — ответил мягкий мужской голос. — К вам посоветовал зайти.

Серафима лихорадочно зашарила руками, пытаясь найти ощупью крючок.

— Сейчас... Минуточку... Пойдите!

Дверь наконец открылась. На крыльце стоял мужчина с располагающим лицом. Поодаль, у калитки, в свете от окна стояли в ожидании двое его спутников.

— Здравствуйте, мамаша, — кивнул приветственно мужчина. — Гости, знаете, нагрянули, надо б угостить, но... сами понимаете. А Яков подсказал...

— Войдите! — Пропустив вперед мужчину, включила свет в прихожей и опрометью скрылась в кухне. С пылающими щеками, с внезапной дрожью пальцев из рюкзака достала водку. — Осталось с поминок четыре бутылочки, сплавить бы их с глаз! — сказала как бы в оправдание. Взяла обеими руками теплую бутылку, вынесла в прихожую. — С поминок, говорю... Куда ее девать? Сама не пью — стара, и молодой не увлекалась...

Мужчина понимающе кивнул, из заднего кармана плотно облегающих светло-серых брюк выудил бумажник.

— Четыре, говорите? Так я, пожалуй, все и взял бы. Вам, я полагаю, все равно? Оптом даже интересней?

Серафима справилась с волнением.

— Еще б не интересней, в минуту гора с плеч!

Мужчина чуть смешался, заглянув в бумажник.

— Вот если б по пятерочке скостили... Стольник у меня. Хотя, я понимаю, не в ваших интересах.

Но Серафима с радостью вцепилась в предложение.

— Да заради Бога! Берите ее всю. Стольник, значит, стольник! — И снова скрылась в кухне.

— Очень вам признателен, мамаша, — бормотнул мужчина, отсчитывая деньги. Бросил их на стол и рассовал бутылки по карманам. Серафима проводила покупателя и вернулась в дом.

— Вот и все, избавилась от водки. Прости меня, грешную, Господи!

9

Духота белых ночей сменялась дневным зноем. В кюветах радужно струились испарения бензина, от дымов

лесных пожаров дали затуманились, пойму обмелевшей Невлевки затянуло мглой, по вечерам в Кедровый доносило запах гари. Черной пеленой на город навалился смог...

Днем Серафима укрывалась от жары в Леночкиной комнате, наглухо зашторивала окна, включала вентилятор. В поздние часы поливала грядки, прореживала зелень.

* * *

Утром почтой принесли бумагу из собеса, приглашали для вручения талонов.

В битком набитом стареньком автобусе, катившемся толчками по разбитому асфальту, Серафиму, сжатую со всех сторон, крутило, как вертушку, потными телами озлобленно сопящих пассажиров, входивших и отчаянно локтями пробивавшихся к выходу.

Приехала в собес, а там столпотворение. Для получения талонов нужно было предъявить паспорт, трудовую и... рентгенограмму. Собес производил учет пенсионеров и заодно оказывал содействие больнице. Паспорт Серафима всегда брала с собой, куда б ни отправлялась, поскольку, слава Богу, знала: без бумажки ты букашка... Но трудовую и рентгенограмму? Это было что-то новое. Но Серафима стала ждать...

За полированным столом в уютном кабинете сидела крупная девица с томными глазами, с огненной копной крашенных волос. Мельком взглянув на Серафиму, склонилась над конторской книгой. И Серафима вострепелась, узнав в девице Зою Колыванову...

Пятнадцать лет назад Зоинькина мама — Вера Николаевна — работала бухгалтером в конторе горрыбкоопа, а Серафима там же убирала и по совместительству числилась курьером. Малышка-первоклассница Зоя Колыванова часто заходила заплетать косички, и Серафима вызывалась услужить. Смышленную малышку любили все конторские.

«Да кто же это к нам пожа-а-аловал?!» — сюсюкали они, одаривая общую любимицу всяческими сладостями. «Зоинька пришла», — любезничала девочка. «А что нам Зоинька расскажет? Знает Зоинька стишки?»

«Будь умницей, дочура, — подталкивала мать на середину кабинета, — сделай тетям одолжение, расскажи стишок». Зоя уточняла: «С выражением?» — «Ну да».

Зоинька старалась, в речи чуть «прицокивая»:

Я маленькая девочка

играю и пою.

Я Ленина не видела,

но я его — люблю!

«Еще, еще, хорошая! — просила бухгалтерия. — Прочти нам что-нибудь еще!»

Зоя вопросительно глядела матери в глаза. Мама разрешала, справедливо рдея от смешанного чувства нежности и гордости: «Ну, если тети просят, сделай одолжение!»

Зоя уступала:

Камень на камень,

кирпич на кирпич.

Умер наш Ленин

Владимир

Ильич!

«Ах, сладкая ты наша!» — бурлила бухгалтерия.

«Славенькая девочка!» — млела Серафима.

Зоинька вздыхала не по-детски скорбно и обращалась к матери с вопросом, приводившим бухгалтерию в неописуемый восторг: «Мамоцка, поцто меня так любят?»

Не отрывая томных глаз от разграфленной книги, Зоинька спросила:

— Все ли принесли?

Серафима вкрадчиво склонилась за столом.

— Уж не гони меня обратно, доченька хорошая. На Северной живу — у черта на куличиках. Автобусы полнехоньки, а ноженьки не ходят. Приеду следующий раз, все и предьявлю.

— Ничего не знаю — было указание. По радио давали объявление.

— Да разве все уловишь, что оно бормочет? Приеду следующий раз — все, Зоя, привезу...

В глазах у Зоиньки сверкнуло любопытство. Серафима пояснила, предугадав вопрос:

— Ты, может быть, меня не помнишь — маленькой была, а я тебя прекрасно помню. И тебя, и мамку — Веру Николаевну. Тебе, бывало, косы заплетала. Волосики хорошие, мяконькие были...

Зоинька вздохнула удрученно:

— Так что вы от меня хотите? Порядок есть порядок, он один для всех...

Проклиная все и вся — порядок и собес, учет и горбольницу, автобус и жару — Серафима поплелась на остановку.

В собес вернулась к вечеру. С пачкой документов в фартучном кармане. Народ уже разбрелся. Села в коридоре, отдышалась...

Послюнив пухлый пальчик, Зоя полистала собесовскую книгу с колонками фамилий, ткнула красный ноготок в строку под Серафиминой. Из выдвижного ящика стола достала пачку отштампованных талонов.

— Пожалуйста, Колягина. Больше разговоров!

На паспорт, трудовую и рентгенограмму она и не взглянула. Вот что доконало Серафиму. И — лопнула внутри ее пружина...

— А документы для чего? Зачем в такую даль сгоняла? Бессовестная, как погляжу! Такая молодая, а ни стыда ни совести. Я к «мамоцке» твоей как-нибудь наведаюсь, все ей обскажу!

Зоинька вскочила, выронила книгу.

— Ваше дело предъявить, а уж смотреть мне или нет — позвольте мне самой решать!

— Жаловаться буду вашему начальству!

— Это вы умеете. Вас хлебом не корми.

* * *

После долгих злоключений Серафима прилегла, но сон не шел. Так и эдак рассуждала, а выход виделся один — в Камышинку. Домой...

Как жить дальше на чужой земле? Скоро Перековку разорят. Даже Яшка не заглянет, разве что за опохмелкой. От Леночки придется отказаться — больше комнатенки не дадут, вдвоем не развернуться. Страшно жить одной. А ну как заболеешь? Свалишься бревном? Никто воды не поднесет, горшка никто не вынесет. Ноги и сегодня через силу ходят, а через годик-два? Заживо сгниешь в пустой квартире. В пятом магазине слышала историю: в «ямке» нынешней весной в домике-скворечнике нашли старуху-инвалидку, умершую от голода...

И что ни говори, Кедровый — пристань временная. Сколько б ни жила на чужой сторонushке, а домой тянуло. Север, он для молодых...

Ехать. Надо ехать! Нечего раздумывать. В Камышинке родня, все равно не бросит. Хоть и на родню сегодня не надейся... Свои друг к дружке охладели, родня родню не признает, стороной обходит, словно бы куска не поделили. Как там Парамон? Вот тебе и братка! Ни открытки, ни письмишка. До сих пор, однако, не простил, что удрала тогда с Матвеем. За что такая нелюбовь? Жизнь близится к концу, пора б остепениться, держаться друг за друга, рук не разжимать. Остаток дней прожить по-человечески...

И все же — ехать, ехать. Нельзя здесь оставаться. Пускай несладко будет дома, никто веселей жизни не устроит — везде нужда, у всех нехватка, но будет там покойней на душе, страха одиночества не будет. Да и совхоз не отмахнется в крайнюю нужду, вспомнит, что своя, в колхозе начинала. Дров машину привезет и огород распахнет. Картошку на коленях, но посадит — много ли ей надо? И поросенка заведет. Курочек с десятков. Уток... Уток, ну их к дьяволу — прожорливы! — лучше бы гусей. Ужель совхоз половы пожалеет?

Но главное, — умрет, схоронят по-людски, поплачут и помянут, к могилке тропку проторят. Избенку-то придется покупать, никто квартиру не подарит. У Парамона тесно, своя семья сам пят. Найти жилье несложно, считай, что пол-Камышинки крест-накрест заколочено, были б только деньги — вот в чем заковыка. Куда ни кинь — и всюду клин, и упирается в деньги.

Уже неделю Яшка Шнайдер работал в пятом магазине. Выстаивая очередь, Серафима видела его в коротком, не по росту, скомканном халате снующим за прилавком к подсобке и обратно. Зубоскала с продавцами, играючи ворочал пятипудовые мешки с солью и мукой, вносил товар в торговый зал и выносил оттуда тару, пальцами, как ломиком, вспарывал бумажные кули, вскрывал картонные коробки. Видела в заднем дворе магазина размахивающим жиденькой метлой, в кузове машины, в кругу сезонных грузчиков и ремонтирующим ящики. Или Яшке по душе пришлось новая работа, или после дикого запоя взялся наконец за ум, или — к этому склонялась Серафима — дорожил доверием милосердной Тосюшки, но всю неделю ходил трезвым.

Серафима наблюдала, как быстрым и упругим шагом он шел с работы или на обед — веселый, говорливый и насмешливый, за руку здороваясь с каждым встречным-поперечным, и, отмечая в Яшке перемену, ловила вдруг себя на мысли, что ждет, когда он к ней заглянет. Зайдет и спросит ненароком: «Надумала, тетя Сим? Клиентов обеспечу». И от одной лишь этой мысли бросало в жар и холод...

Она давно уже надумала. Мечта о гнездышке в Камышинке всецело завладела ею. Требовались деньги. Тысячи две-три хватило б за глаза на переезд и обретение угла — какой-нибудь избышки, о доме не мечталось. Но и такие деньги ей во сне не снились...

Она ждала и все же, когда в один из вечеров Яшка с сумкой на плече переступил порог и заглянул с опаской в Леночкину комнату — нет ли посторонних? — вдруг оторопела, руки опустились. Яшка бросил в ноги сумку с надписью «Спортивная», облегченно выдохнул, расправил грудь и плечи. Был он в свежей дымчатой рубашке, заправленной под выцветшие джинсы, коротко острижен, наодеколонен.

— Ну что, тетя Сим, лиха беда начало?

И по тому, как в сумке взбрыкнули бутылки, Серафима убедилась — дождалась. Но, испугавшись проничетельности Яшки, отступила в сторону.

— Что там у тебя?

— Товар, тетя Сим, товар. Ведь мы договорились. Или я чего-то недопонял?

— Откуда столько, Яша?

— Вот этого тебе пока не нужно знать.

Втайне ожидала со дня на день, но чтобы так вот — сразу с водкой, в твердом убеждении в ее незамедлительном согласии — о том помыслить не могла.

— О чем ты говоришь-то? О чем договорились? Водку, что с поминок оставалась, сплывила, спасибо. Другого уговора не было у нас.

Яшка от досады навскидку щелкнул пальцами.

— Да ну тебя, тетя Сим. То вроде бы не против, то снова за свое!

Сжав пальцы в кулаки Серафима, поднесла их к подбородку, качнула головой неодобрительно.

— С чего ты взял, что я не против?

— Вижу по глазам! — огорошил Яшка. И, не давая возразить, закончил тем же тоном: — Вижу — жмешься, трешься... Руби свои сомнения. Руби, пока я добрый. А то ведь передумаю — ногти обкусает!

— О чем ты, окаянный?!

Яшка перевел дыхание, отдельно произнес:

— Значит, так, тетя Сим... Решай. Если нет, то я пошел, если да, бери товар и ожидай клиентов.

Серафима фартуком вытерла глаза.

— Боязно мне, Яша... Грех на душу беру.

— Бог тебя простит! Бери товар, не бойся. Если что, дай знать... Я почему тебя прошу? Менты мою берлогу знают. Для них моя берлога вроде как притон. А где притон, там часто шмон. А ты вне всяких подозрений. Клиентов буду посылать порядочных, надежных... Торгуй себе спокойно... Бабки мне нужны. Ба-абки, понимаешь? И тебе не лишни. Тебе тем более, тетя Сим. Четверть выручки твоя — вот какой я щедрый. — Яшка выставил бутылки.

Серафима пустым взглядом уставилась на водку.

— Поглядел бы на меня покойничек Матвей! Генка поглядел бы. Сгорела б со стыда!

Повинуясь безотчетному порыву, Яшка подскочил к окну, взгляделся в отражение, резко обернулся.

— Стыдно перед сы-ыном? Перед подлецом? — медленно приблизился к печи, тронул Серафиму за рукав, в глаза ей заглянул. — Святая простота... А ему не стыдно?

Серафима отмахнулась как от наваждения.

— Что ты, Яша, мелешь? Генка ли подлец? Он ведь другом был твоим. Ну тебя, ей Богу!

— Волк тамбовский ему друг, а не Яшка Шнайдер! Подлец он, хочешь или нет, — сцедил сквозь зубы Яшка. — Еще какой подлец прожженный! Он почему к себе тебя не перевез, когда Матвей Егорыч умер? Да потому, что выдра ошетибилась, поставила условие: либо я — твоя жена, либо матушка твоя... И все, и Генка скис. Другой бы взбунтовался, показал характер, а Генка рученьки по швам. Но не ради юбки, не-ет! Кого-кого, а Генку знаю. Ради перспекти-ивы! Ради продвижения! — сделав губы трубочкой, с презрительной усмешечкой выговорил Яшка. — Они его продвинут в свою стаю! Тряпка — не мужик. Ничтожество и дрянь... Да, я тоже тряпка, если уж начистоту. Пьянь и размазня. Но не подлец, тетя Сим, поверь. Разве я не вижу, что крутишься как белка в колесе? А он тебя хоть словом поддержал? Какую-никакую надежду подарил? Нужна ли ты ему? Можно ли так с матерью? Кому должно быть совестно?

Серафима встала, сплела руки на груди.

— Ты Генке не судья. Пусть живет как знает. Не ломать же ему жизнь даже ради матери? Я пока еще таскаюсь и себе хозяйка. Сама бы не поехала к нему. Когда уж ноженьки откажут, стану недвижимой, тогда и Генка — мне ль не знать? — не бросит, заберет.

— Слушай, сколько тебе лет? — Яшка вскинул руки, сел и застонал, отпав на спинку стула.

— Ты что? — насторожилась Серафима. — Чего зубами заскрипел?

— Прожила ты свою жизнь и ни-че-го не поняла! Каждый для себя живет. Каждый для себя и каждый за себя. И никому ты не нужна. Была нужна, когда пахала. Теперь тебя списали. Теперь ты — хлам, тетя Сим. Поверь.

— Да ну тебя, ей-Богу!

— И всем ты в тягость и обузу. Ни на власти, ни на сына, ни на Бога не надейся. Я это понял хорошо. И потому протягиваю руку. Ты поможешь мне, я помогу тебе. Будем выкарабкиваться вместе. Без бабок в наше время ты не человек... Сама недавно говорила: цель должна быть в жизни. Но к цели продвигаются с толстым кошельком, с тонким делать нечего. Пока еще я в силе и в своем уме, должен обеспечить себя бабками. Вот цель так цель, всем целям цель. Скажи, что я не прав!

— Может быть, и прав... Да только уж ступай, не распинайся. От правоты твоей не легче.

11

Верила ли в Бога Серафима?

...Помнилось как сон: девчонкой несмышленной, лет пяти-шести, напросилась с бабушкой и матерью в соседнее село на праздничную службу. С ревом напросилась. Была весна, но снег еще не стаял, лежал в низинах грязными лоскутьями, блестел в логах искристой коркой. Птичьим граем спозаранку огласилась роща, теплый ветер обдувал лицо, парное ото сна. Вышли поутру и долго, с остановками, шли раскисшим слякотным проселком. Сердчишко встрепенулось, когда на чистом взгорке, в стороне от скученных избенок, частоколов увидела впервые осихинскую церковь. В благоговейном трепетном молчании взирала на чудесный Храм, возникший будто бы из сказки, с его округлыми торжественными стенами, сверкающей на солнце золоченой маковкой, сияющим крестом... Под тихий благовест христосовались люди с блаженными улыбками на просветленных лицах, с глазами, полными любви, прощения и кротости. Бабушка взяла ее за руку, и с суеверным страхом и почтением к неведомому таинству, должному свершиться, она взошла на паперть по высокой лесенке с чугунными перилами. Горящий солнечным огнем иконостас и образа в серебряных окладах, сладкий запах ладана, седой священник в длинной рясе, вы-

плывший, казалось, из-за алтаря, легкий чад кадила и свечей, суровые старухи в суконных темных шалях, волнообразный шелест голосов — все это, вместе взятое, вдруг захлестнуло жалостью к себе, тревогой, робостью, сиротством, и, ткнувшись в материн подол, захныкала: «Домой... Домо-ой... Домо-о-ой!» — «Негодная девчончиш-шка!» — зашипела бабушка.

«Домо-ой! Хочу домо-о-ой!» — заплакала навзрыд.

Другое тоже помнилось...

Пришла домой из школы, а мать в святом углу — молилась на икону.

«Мама, Бога нет. Бог — опиум народа!»

Но мать не рассердилась, даже и не цыкнула. Встала медленно с колен, привлекла к себе. Только и сказала: «Мелко, дочка плаваешь... Когда-нибудь дотянешься до Бога!»

Пусть в церковь не ходила, обрядов строго не блюла, не знала слов молитвы, как истово верующие бабушка и мать, глядела на иконы, как баран на новые ворота, не в состоянии постигнуть смысл загадочных сюжетов. И где ж было постигнуть, когда со смертью матери последнюю икону спрятала в сундук — стыдилась, дурочка, подружек — увидят, обсмеют! — да кабы только это — накажут за религию. И все же втайне верила, ибо совсем без веры как же можно жить? Без веры, чувствовала, жизнь стала бы пустой и беспросветной. Но верила по-своему — не в Человека-Бога, а в некий Высший Разум. Всевидящий, всезнающий. Которому подвластно все сущее на свете...

Утром Серафима отделила двадцать пять рублей от июньской пенсии и с облегченным сердцем отправилась в сберкассу. Внесла свой вклад в постройку Храма, в котором — знала точно — уже не помолиться.

* * *

Вечером калитку закрыла на вертушку, накинула крючок на сеничную дверь, но, вопреки обыкновению, домашнюю оставила открытой. Включила свет в

прихожей и выключила в горнице. Без аппетита похлебала жиденькой окрошки и запила все тем же теплым квасом. Включила телевизор. Три мужика за круглым столиком спорили о роли новых партий в перестройке. По второй программе народные избранники толклись у микрофонов, с мольбой взирая на Лукьянова, с улыбкой разводящего руками. Серафима отключила «говорильню» и включила радио. У ног, мурча и выгнув спину, терся рыжий кот.

— Да чтоб ты потерялся, надоеда! — толкнула Серафима настырного кота. Кот обиделся, запрыгнул на кровать, свернулся на подушке.

Ожиданье становилось тягостным. Серафима прилегла. Но гул машин, треск мотоциклов, скрежет дикой музыки из городского парка, порывами влетающий в раскрытое окно, шаги на тротуаре — любой из этих звуков вскидывал с постели. Когда и звуки растворили в себе ночь, Серафима задремала, и требовательный стук в раму выходящего на улицу окна застал ее врасплох.

За окном на тротуаре стоял высокий парень в белой водолазке. Серафима вопросительно мотнула головой. Парень молча щелкнул себя по кадыку...

Из батареи под кроватью выхватив бутылку, бросилась к порогу. Уняв сердцебиение, выскочила в сенцы. Бросила бутылку в матерчатую сумку, висевшую за дверью. Оставив сверток на крыльце, подошла к калитке.

— Чего тебе?

— Бутылочку...

— Бутылочку ему... Откуда у меня?

— Яша посоветовал...

Гусаровская Найда, громко брякнув цепью, вдруг захлебнулась лаем. Серафима вздрогнула.

— Кошку усекла! — засмеялся парень.

Рыжий кот беспечно умывался на заборе вблизи Ефимовых сараев. Серафима сплюнула в сердцах.

— Чтоб тебя собаки разодрали!

Принесла бутылку. Следуя наказу опытного Яшки, пересчитала деньги в свете от окна и лишь затем через калитку подала «товар».

— Случайно застоялась!

За полночь клиенты зачестили. Серафима опрометчиво кидалась за порог. Клиент шел больше трезвый, при немалых деньгах, лишнего не спрашивал, но Серафима, принимая смятые купюры, в запале бормотала:

— Случайно застоялась!

В третьем часу ночи, когда из дюжины бутылок осталось две, громыхнула сеничная дверь — второпях, видать, оставила незапертой калитку, — и припозднившийся клиент прошел через подворье. Выскочила в сенцы.

— Кто там тарабанит?

— Открой, торговка, дело есть! — раздался пьяный голос.

Клиент был явно не от Яшки.

— Иди, иди отсюда. Не знаю, кто ты есть и по какому делу, но разговаривать с тобою не хочу.

— На сто рублей, торговка, дело!

— Кто тебя прислал-то?

— Голос. Внутренний мой голос. Иди, кричит, собака, вдарь на завершение!

— Кто голосу дорогу указал?

— Нюх, торговка. Нюх. Он у меня по этой части любовью овчарке фору даст.

И Серафима убедилась: далеко зашло. Бдительность утратила!

— Ступай, милоч, отсюда. Нету у меня... Не было и нет. Нюх тебя подвел.

— В натуре, что ли, старая?

— В натуре, мой хороший. Ступай своей дорогой. Может, где найдешь.

— Вот так накололся, мать твою рас-стак!.. — Пьяный отошел, бормоча ругательства.

Серафима выждала, когда захлопнется калитка, закрылась на вертушку...

Тяжелый полусон схватил ее под утро.

12

Чем больше размышляла Серафима, тем ясней осознавала, что тридцать пять кедровских лет прожи-

ты на чужбине. Как бы проводила условную черту, незримо отделявшую Кедровый от Камышинки, и все, что видела по-новому вокруг — обломанный кедрач, замшелые холмы, глубоководностью и ширью пугающую Обь и высыхающую Невлевку, ревниво и пристрастно сравнивала с тем, что за чертой: березовыми колками, пшеничными полями, прудами и озерами, и находила утешение в бесспорной несравнимости родного, незабытого... Даже от названий сел и деревень — заброшенных и здравствующих ныне — Камышинки и Моршихи, Крутинки и Осихина, Малькова и Ключей — казалось, исходили свет и благодать в отличие от холода и мрака местных Рямовок, Атлымов и Урманых. С неизъяснимым удовольствием произносила Серафима забытые, казалось, имена сельчан и радовалась крохам, сохраненным памятью...

Жаль было лет, прожитых вне Камышинки, но в мыслях не корила покойного Матвея. За что было корить? Не в поисках удач и приключений увез ее на Север, оставил на забвение могилы стариков. Не от хорошей жизни скрылся из Камышинки, а от недобрых взглядов, слухов, кривотолков...

Днем в ожидании «товара» села за письмо брату Парамону. После многочисленных приветов приступила к главному:

«...Свое житье-бытье описывать не стану, не хуже понимаешь, каково приходится одной в отрыве от своих. Генка — не опора, зря тешилась надеждой. А потому надумала вернуться по весне. Поспрашивай у наших, кто бы мог продать недорого избенку, но чтобы с огородом и сарайкой. Узнай да поторгуйся. Как что-то подвернется, так сразу же дай знать. Все пораспродам, а денег наскребу...»

Подумав, приписала после «До свидания»:

«Не тяни и не откладывай, не заставляй упрашивать».

И не случайно приписала...

В войну возила сено с ним на пару. Вставали спозаранку, приезжали затемно. Пока кобылу распряжешь, придешь домой, разденешься, поешь скорей-скорей, и спать ложиться незачем — время запрягать. Братишка ус-

тавал, не высыпался. Жалеючи будила: «Вставай, сходи на конный двор, приведи кобылу». Парамон капризничал, протирал глаза: «Как ты надоела с твоим сеном!» — «Вставай, вставай — светает». Парамон вставал: «Так и быть, кобылу приведу, а запрягать не стану». Приводил кобылу, садился на порог и смолил махру — курил лет с девяти. «Брательник, запрягай!» — велела Серафима. «Ладно, запрягу — за сеном не поеду». Запрягали. Пора ехать. Парамон упрявился. «Поедешь или нет?» — сердилась Серафима. «Поехать-то поеду — накладывать не стану». И так до бесконечности...

И вот уже в годах, а детская упряминка в нем укоренилась.

* * *

В последнее время город жил слухами. О денежной реформе, наценках, дефиците. В пятом магазине судачили о мафии, строили догадки о диверсиях, предсказывали голод и разруху. Слухи дополнялись правдоподобными рассказами случайных «очевидцев» и «свидетелей». Серафима верила всему, скупала спички, соль, муку — все, что лежало на прилавках...

В один из поздних вечеров послышался ей шорох во дворе, в заборе за сараем скрипнула калитка. «Не Яшка ли пожаловал с товаром?» Но Яшка третий день не появлялся и должен был по уговору наведаться к утру.

Серафима вышла, огляделась. В конце двора, перед сараем, покачивались стебли картофельной ботвы. Гусаровская Найда, сомлевшая от зноя, тявкнула два раза и, высунув из пасти розовый язык, скрылась под навесом.

«Дворняга или кошка прошмыгнула... Или кто-то из Гусаровых вышел по нужде», — решила Серафима, вспомнив, что к соседям приехали вчера дочь Екатерина с мужем-вертолетчиком Денисом и шестилетней дочкой Викой. Вспомнив, успокоилась и вернулась в дом.

Но не прошло недели, и вновь она услышала ржавый скрип калитки в глубине двора. И тотчас, будто спохватившись, залиvisto, с подвывом, залаяла гусаровская сука... Через заднюю калитку или сквозь пролом в заборе кто-то, очевидно, проникал во двор. О заблудившемся клиенте не могло быть речи. Все ночные визитеры стучали упредительно в окно. Сделав несколько шагов — вкрадчивых и мягких — по направлению к сараю, Серафима встала, вслушалась, всмотрелась в заросли маличника, скрывавшего забор, из-за которого (она интуитивно чувствовала это!) в щель ее разглядывал кто-то хоронившийся в кустах. Серафима медленно ретировалась в сенцы...

Через несколько минут на дверь навесила замок и — с оглядкой, бочком подалась к соседям.

Хозяева и гости сидели в чистой, освещенной солнцем горнице. Посреди богатого зеленью стола высилась бутылка с мутной темной жидкостью. Гусариха беседовала с дочерью, Ефим, жестикулируя, с Денисом, на коленях у которого примостилась Вика.

Уже почти неделю Гусаровы работали на раскорчевке отведенного участка. Длинноногая, костлявая в мамашу, живая и веселая в отца, Екатерина пропадала с мужиками на делянке, окапывала пни и вырубала тал, а синеглазая в отца, кудрявая Вика хвостиком таскалась за Гусарихой, занятой домашними делами...

Слегка хмельной и размягченный, Ефим вскочил навстречу.

— Садись сюда, Симуня. Обмоем наш участок. Будущую дачу!

Екатерина прыснула в ладонь.

— Как до Луны пешком до дачи, а ты уж за обмывку!

— Было бы начало! — возразил отец.

Гусариха придвинулась к Денису.

— Садись, Симуня, рядышком.

Но Серафима поняла, что вклинилась не вовремя. Что им до чужих тревог, когда семья вся в сборе!

— Нет, я на минуточку...

— Бабушка, а бабушка! — Вика соскользнула с колен отца, подбежала к Серафиме.

— Что, моя веселая?

— Я тебе, бабусенька, тайну не скажу!

— Правильно, разумная. Раз тайну, то не надо.

Отец любопытствовал на свою беду:

— Какую, доча, тайну?

— Что в подполье у дедушки самогонка спрятана!

Гусариха икнула и выронила вилку, Екатерина густо покраснела. Тесть и зять переглянулись, закатились смехом. Денис схватился за живот.

— Продала дедулю с батей. Даром продала!

Серафима, чувствуя неловкость, разрядила обстановку:

— Я чего, Ефим зашла? Найди мне покупателей. Лодку, лодочный мотор, ружьишко продала бы... Генке берегла, да он, похоже, плюнул... Деньги край нужны.

Сосед смахнул слезу, прошел на место, сел.

— Давно пора, Симуня. Зачем добру ржаветь? Найду... Оценим, продадим. Внакладке не останешься.

— Бабушка, а бабушка! — снова встряла Вика. — У тебя клубничка есть?

— Есть, миленькая, есть. Сладкая да сочная!

— К бабушке хочу, — заявила Вика. — К бабушке Симуне ночевать пойду!

Екатерина подскочила и дала шлепка.

— Бессовестная девочка! Не стыдно попрошайничать?

— Ну что ты, мамка, злишься? — вступилась Серафима. — Пусть со мной пойдет, ночку заночует. Вас тут целая компания, а бабушка одна... Все будет веселей. Пойдем со мной, веселая!

* * *

Серафима поливала, Вика лакомилась ягодой, попутно выдавая новые «секреты»:

— Баба Феня — жадина, клубнику рвать не разрешает...

Серафима краем уха слушала малышку, оттаивала сердцем, освобождалась от тяжелых подозрений...

Дома Вика забавлялась с увальнем-котом, с ходу окрестив его Бароном. Носилась с ним по комнатам,

звенела колокольчиком и перед сном опрыснула трусишки. Опыснув, застеснялась, легла на взбитую постельку, уснула моментально. Не видела, не слышала, как, состирнув ее бельишко, металась Серафима, будто заведенная, от окна к калитке и обратно.

13

Тесная кладовка и чердак сарая были с незапамятных времен завалены разным барахлом. Настало время взяться за приборку.

Из нагромождения посуды, коробок и узлов Серафима извлекла на свет канистры и бачки, винты и инструменты. Сети, весла вынесла в сарай. Из паутинного угла обеими руками выволокла в сенцы железный сундучок, набитый дробью и картечью. С гвоздя в стене сняла ружье и патронташ, полный тусклых гильз с желтыми глазками капсюлей. Старую двустволку с надтреснутым прикладом, схваченным латунной полоской, с промасленными черными стволами протерла влажной тряпкой, занесла в прихожую.

За ружьишко, однако, уцепился Яшка, подгадавший к вечеру.

— Что, пушку продаешь? — Он заглянул в стволы, огладил ложу и приклад.

— Продам, — кивнула Серафима, — к чему оно теперь?

Яшка испытующе взглянул из-под бровей.

— Возьму, если не шутишь.

— Зачем оно тебе? Ты ведь не охотник.

— Буду приобщаться. На уток осенью схожу... Спрячь, не продавай. Хорошая пушечья. Матвей Егорыч, помню, дорожил. В ментовке разрешение оформлю, сразу и возьму...

— И сундучок в придачу, — предложила Серафима.

— И лодку надувную! — спохватился Яшка.

— Что еще за лодку?

— Резиновую лодку. Была у вас. Двухместная. «Омега».

— Кажется, была, — кивнула Серафима, — а где она теперь — убей меня не помню.

— Ты поищи-ка хорошенько. А я оформлю разрешение, все чохом и возьму.

* * *

Прибравшись к вечеру в кладовке, подошла к сараю. Приставив лестницу к стене, ступней опробовав на прочность перекладину, медленно, с опаской поднялась наверх, раскрыла дверцу настежь. Из чердачных пыльных сумерек пахло кошками и плесенью, войлоком и вениками, висевшими попарно в связках на жердине вперемежку с ржавыми язвами. Влезла на чердак. Когда глаза привыкли к сумраку, в углу наискосок различила ящик, в котором, вспомнила, хранились тент и надувная лодка. Серафима, морщась, подошла вплотную и, наступив на что-то мягкое — живое, непроизвольно дернулась и вскрикнула в ладошку...

В промежутке между ящиком и бревном в венце сарая на соломенной подстилке увидела истерханные полы Матвеевой «москвички», на которой, с головой накрывшись тентом, лежал мужчина в рваных башмаках. В изголовье у него виднелась сложенная вдвое ветхая фуфайка с торчащими из дыр клоками грязной ваты. Сбоку, на дощечке, стояли банка, полная водой, и полбуханки хлеба. На обрывке сморщенной газеты валялись головы и кости обглоданных язей...

Не отводя от ложа глаз, Серафима медленно попятилась к болтающейся дверце. Спустилась по скрипучим перекладинам до середины лестницы, грудью навалилась на трухлявое бревно, высунула голову в проем.

— Эй, кто там? Отзовись!

Выждав несколько секунд, выкрикнула громче:

— Кто ты есть? Подай же голос!

Человек под тентом шевельнулся, под край шуршащей парусины втянул поочередно обе ноги.

Струхнула Серафима, вскрикнула вибрирующим голосом:

— Я вот за милицией сполькаю!

Человек от вскрика вздрогнул, замер на мгновение. Из-под тента выпростал взлохмаченную голову, поднял белеющее в сумраке лицо. Уперев ладони в плотную засыпку, сдвинул тело к изголовью, сел и сбросил в ноги тент. Откашлявшись, глухо произнес:

— Не бойся, добрый человек... — Он взял в руки банку, обливаясь, лязгая зубами, сделал несколько глотков.

Серафима обмерла.

— Ве-е-еня? Полигло-от?! Ты как сюда попал? Другого места не нашел? Облюбовал лежанку! А ну-ка выметайся с чердака!

Дрожащими руками обнимая лестницу, грудью прижимаясь к перекладинам, Веня Полиглот спустился с чердака и тут же сел на землю, уткнув лицо в колени, прерывисто и загнанно дыша. Он был в замызганной штормовке поверх зеленой майки, в разбитых башмаках с присохшими к подошвам комками белой глины. Потные, давно не стриженные волосы грязными пучками свисали с головы.

— С похмелья, что ли, маешься? — спросила Серафима. — Вам похмелье не беда. Вставай. Иди отсюда!

Веня поднял голову, окинул Серафиму безразличным взглядом. Испитое лицо, багровый потный лоб пылали нездоровым красным цветом.

Серафима ойкнула.

— Да ты, никак, в жару? Вот еще подарок! Вот еще беда-то! И давно ты здесь? Ведь это ты меня тогда переполохал. А если бы помер на чердаке? А если б не полезла я туда? Да что ж теперь с тобою делать? Куда тебя девать? Ступай уж в сенцы, что ли... Сомлеешь ведь на солнышке. Идти-то сможешь, нет?

— Смо-у...

— Давай, сердечный, потихоньку.

Ваня медленно поднялся и нетвердым шагом пошел за Серафимой. Усадив его на раскладушку, она слезила в подполье, достала кружку клюквенного морса. Веня жадно выпил, закашлялся до слез.

— Вишь, как тебя скрутило! Что же мне с тобою делать? В «скорую» звонить? Ну конечно, в «ско-

рую!» — Серафима, охая и ахая, отправилась к Гусарихе.

14

— Больного разбудите! — приказал врач. Из глубокой сумки достала стетоскоп и градусник.

Гусариха стояла у порога, неодобрительно качала головой, глядя то на Веню, то на Серафиму, то — вопросительно — на женщину-врача.

Веня разомкнул слипшиеся веки, раскрыл глаза с прожилками на выпуклых белках, обвел присутствующих долгим мутным взглядом. Вздохнул и слабо улыбнулся черными губами.

— Курточку снимите! — скомандовала врач.

Трясущимися пальцами Веня выковырнул пуговицы из прорезей штормовки, неуклюже заложил термометр под мышку.

— Да не тем концом-то, Веня, — заметила Гусариха. — Совсем уж как ребенок!

Врач достала ручку и бумагу, пристроилась за столиком в углу.

— Имя, отчество, фамилия?

Веня кашлянул.

— Попов... Вениамин Михайлович Попов...

Простые имя и фамилия больного человека, которого никто от мала до велика не называл иначе, как Веня Полиглот, вдруг поразили Серафиму первоначальным смыслом: ведь и у этого несчастного, дошло до Серафимы, были мать, отец, семья, работа, радости, желания... Так где же и когда, и по какой причине — и есть ли оправдание тому? — утратил человеческое имя Вениамин Михайлович Попов? И есть ли смысл в его существовании, страданиях и муках?..

Врач, взглянув на градусник и вскинув в удивлении ресницы, скомандовала:

— Встаньте!

Веня встал и сдернул майку, поспешно ее скомкал и сунул под матрас. В бока уставил тонкие рахитичные ру-

ки. Вздохнул, и немощная грудь заколыхалась в мелком кашле.

— Дышите... Глубже... Глубже!

— Сима, выдь-ка на минутку, — позвала Гусариха.

Серафима вышла на крыльцо и прикрыла дверь.

— Дура ты. Дура ты набитая! — постучав себя по лбу, выдала Гусариха. — Зачем домой его втащила? Отправила б в больницу своим ходом!

— Так он ведь еле дышит.

— Дошел бы, не подох. А подох, так, может, к лучшему б.

— Ой, Феня, как ты рассуждаешь... Все же человек.

— Ладно, сострадалица. Я что хочу сказать? Кружку, из которой напоила, выбрось на помойку... Кто знает, вдруг из легочных? Слышишь, как бухикат? И это, что еще?.. — Гусариха запнулась. — Постель перетряхни. Матрас, подушку, одеяло... У него, поди, кишмя кишит в башке... А запах от него? Как от помойного ведра!

— Так, может, заберут его в больницу?

— Не знаю. Побегу. Не заберут, так выгони.

Врач смотала трубку стетоскопа, сунула в кармашек белого халата. Сделав жаропонижающий укол, заполнила рецепты, отдала распоряжения:

— Обильное питье, лекарство и покой... Боюсь, что воспаление. Надо бы ему в стационар, да коек нет свободных... В пятницу явиться обязательно. Если станет хуже, вызывайте «скорую». Вот, кажется, и все...

— Спасибо. До свидания, — кивнула Серафима и, проводив врача, вернулась в сенцы.

Веня одевался.

— Я сейчас уйду... Оденусь и уйду. — Веня натянул замызганную майку и надел штормовку.

— Куда же ты пойдешь? — раздумчиво спросила Серафима.

— Где-нибудь перекантуюсь. Теперь-то как-нибудь... Спасибо вам, хозяйшкa, за вашу доброту.

«Где-нибудь да как-нибудь!» — передразнила Серафима. — Вот что, мой хороший, разденься и ложись. Очу-

хайся маленько. Полежишь до пятницы, а там пойдешь в больницу — лечиться тебе нужно. Куда сейчас пойдешь? Снова на чердак? В таком-то состоянии? Ты поглядел бы на себя — краше в гроб кладут. От слабости шатает, как былинку. Голодный и холодный. Ложись и не перечь. Стеснительный какой! — Поставив точку в разговоре, подчеркнуто решительно зашла в дом. Вернулась с мылом, свежим полотенцем, стопкою нижнего белья под мышкой и в руке. — Нагрею сейчас воду, помоешь голову и ноги... И переоденешься в чистое — осталось от Матвея, мужа моего. Носи и поминай.

Веня растерялся окончательно. Сидел как истукан, глядя на Серафиму ошарашенно. Она поставила ведро с водой на газ, смахнула со стола в карман рецепты, отправилась в аптеку.

Гусариха, как тень, скользнула на дорогу.

— Что, Симуня, увезли твою находку?

— До пятницы велели погодить.

— А он? Где он сейчас?

— У себя оставила... Куда такого квелого?

— Ай, дура. Дурочка наби-и-итая! Что ж ты, девка, думаешь? Да пока ты ходишь, он тебя обчистит, нитки не оставит!

— Не-ет, — возразила Серафима. — Он, Феня, не из тех. Видно ж человека. Он — тихий да стеснительный какой-то.

— Все они стеснительны в стеснительных условиях. Ты, Сима, неученая. Иди, а я пронаблюдаю, с чем будет уходить... Ай, дура ты. Ай, дура!

* * *

Три дня, две долгих ночи провел у Серафимы Веня Полиглот. Она поила его морсом, отварами из трав и сцеженной ухой из свежей щуки, которую принес Ефим Гусаров. По утрам больному становилось легче. Сидел, держа между колен темные ладони, сложенные лодочкой, беззвучно шевелил сизыми губами, глядя как замороженный, в одну точку...

Перед уходом встал чуть свет. Серафима вышла, увидела его одетым и обутом, сидящим на крыльце. Веня обернулся, улыбка тронула обметанные губы.

— Утро доброе, хозяйка!

— Здравствуй, Веня. Здравствуй. Чего же спозаранку? Дойдешь ли до больницы?

— Спасибо, как-нибудь...

— Да не за что, чего там. Нелюди мы разве? Лечись и больше не хворай.

— Пойду.

— Ступай. Храни тебя Господь!

Веня Полиглот направился к калитке. Взялся за вертушку и остановился. Взглянул на Серафиму, повернулся назад...

— Вы — добрый человек. Я должен вам сказать... не доверяйтесь каждому, не надо... — заговорил он сбивчиво и скомканно. — Когда сидел на чердаке, я слышал, к вам стучали, видел — заходили... Шурупа тоже видел. Так вот, он — зверь... Он — хуже зверя. За деньги он на все способен. Остерегайтесь этого мерзавца!

Серафима опустила на крылечко...

* * *

Перед Новым годом Полиглот и Ангел, прозванный Кудрявым за голую макушку и Ангелом за кроткий, добродушный нрав, в прекрасном настроении вернулись из пивной уже в восьмом часу. Днем на десятку сдали стеклотару, собранную тут же, в аэропорту, в карманах у обоих позвякивала мелочь. В зале ожидания было пусто и неприбрано. Пассажиры, гомоня, толклись внизу, на первом этаже. Облюбовав для отдыха кожаные кресла, Полиглот и Ангел в блаженстве вытянули ноги — в кои веки выпала удача отдохнуть по-барски...

Ангел подобрал газету с пола и вдруг клубком скатился с кресла. Присел и поглядел по сторонам. Мол-

ниеносно сцапал с грязного паркета пухлый кошелек, впихнул его под свитер: «Теркаем отсюда, покажу сюрпризу!»

В женском кошельке оказались старые квитанции, истертые бумажки, резиновой тесемкой стянутая пачка новеньких червонцев.

Тысяча рублей!

Ангел взвизгнул от восторга.

Утром — жизнь прекрасна! — отправились в пивную. На другой день — тоже. На третий — головастый мужичонка в дубленом полушубке возник перед столом: «З-здорово, п-п-пролетарии. В-весело живете. Н-нельзя ль объединиться?»

А отчего нельзя? Объединиться можно. С Шурупом — Машка Быстроход и Галя Парфюмерия. Водка на столе...

Затем — «братание» и гомон, ерш на посошок, длинная дорога в «ямку» под горой, в Шурупову «конуру», где, он уверял, «устроим марафон»... Визг Машки Быстрохода, скабрзные намеки Парфюмерии. Крюк до «спиртоноса»...

И снова — водка на столе, огрызки сухой рыбы, табачный смрад и копоть, и — мрак, провал в небытие...

Очнулся Полиглот в Центральном парке отдыха. Один. В крошечной мгле. Над головой — заснеженные лапы необхватной ели, вокруг — взрыхленные сугробы и под ногами — окропленный кровью снег. Веня встал на четвереньки, осмотрелся. Вывернул карманы — ни копейки. От пробирающего холода клацая зубами, ощупью нашел в снегу шапчонку. Встал и пошатнулся от головокружения и, обхватив затылок, дико взвыл от боли — пальцы обагрились теплой, липкой кровью. Вслепую выбрался на узкую тропу, собрал остатки сил, пошел на фонари, уперся наконец в пятиэтажку. Зашел в подъезд, по каменистым ступенькам поднялся на площадку, упал на батарею...

Пришел в себя в больнице. С перевязкой на проломленном затылке лежал с мучительным вопросом в голове: куда девался Ангел? Вышел через месяц и — на аэровокзал. Безвылазно сидел в зале ожидания, выискивая

друга в толчее толпы. Но высмотрел не Ангела — Шурупа. Шуруп с бригадой вылетал на буровую. Столкнулся с Полиглотом и — остолбенел. «Здорово, п-пролетарий. А я слышал, ты сдох».

Полиглот: «Где Ангел?»

Шуруп засуетился: «В Б-березовке К-кудрявый, л-лично проводил!» А на самом — «кольчуга» — серый, грубой вязки свитерок Кудрявого.

— Кудрявый подарил? — осведомился Веня.

— Д-да, в п-память о минувшем!

В апреле вытаял Кудрявый в дальнем углу парка. В день похорон Кудрявого Шуруп встретил Веню на подходе к кладбищу, вытащил бумажник из кармана.

— «В-вот тебе, убогий, стольник, п-покупай билет и в-вали из города. В-вали куда п-подальше, не з-задавай в-вопросов. Д-даю неделю сроку... Н-надеюсь, в-фсе понятно?»

— Понятно, — замер Полиглот. — Еще бы не понятно!

— В-вот и хорошо, — осклабился Шуруп. — В-веди себя примерно — д-долго будешь жить. А если не п-послушаешь, отправишься к п-приятелю!

Два месяца скрывался Веня Полиглот на чердаках и стайках Перековки.

15

Серафима пила чай спозаранку, после того, как накормливала поросенка. Кабанчик рос и становился все прожорливей, приходилось по два раза в сутки, утречком и вечером, рвать для него крапиву — благо под заборами хватало этого добра, — мельчить ее в корыте, запаривать с картошкой.

Но сегодня что-то нездоровилось — вялость и разбитость чувствовались в теле, ложка выпала из пальцев, звякнула об пол. Кот, развалясь на койке, лапами усердно тер мордашку — намывал гостей.

— Кого мне намываешь, барсук неповоротливый? — бурчала Серафима, неспешно прибирая со стола. — Генка не разгонится, Парамон тем более. Письмишко бы прислал, и на том спасибо...

Прошло всего полмесяца, как она отправила в Камышинку письмо, но нарастало беспокойство — ответит ли брательник, не примет ли за старческий каприз нешуточную просьбу...

День прошел в неясном ожидании. Вечером зашла с работы Тося.

— Я что хочу сказать? Завтра с утра яблоки будем продавать. И диетические яйца. Так что подходите, а то вам не достанется.

— Вот спасибо, Тосюшка! Нет-нет да выручишь меня. Яблоки-то ладно, яблоки не ем — вдруг попадут с чернобыльской заразой, а яичек нужно, пусто в холодильнике... Да пройти присядь хоть на минутку!

— Ой, да я попутно, надо бы домой...

Любила Серафима Сотникову Тосюшку за ласковость и нежность. Усадив ее за стол, вновь разлила по чашкам чай. Ладная, спокойная, с тонкими бровями над голубыми добрыми глазами, с губами, тронутыми легкою улыбкой, Тося выглядела мудрой, чуть утомленной жизнью женщиной. И Серафима, глядя на нее, в который раз подумала о сыне: какой он все-таки пентюх, кого он променял и по какой неволе? Цены бы не было невестке и жене!

И все же показалось, что в Тосюшке сегодня что-то необычное, какое-то сомнение в глазах, смятение, вопрос и нерешительность...

— Серафима Ниловна, а что, о Генке ничего так и не слышно? — спросила как бы ненароком, дуя на горячий чай в чашечке на блюде. Спросила и зарделась, кровь так и брызнула к лицу.

— Не-е-ет, — протянула Серафима, — молчит, как в рот воды набрал. Не едет и не пишет, наверно, по уши в работе... А что? — насторожилась. — Тебе известно что-нибудь?

— Да нет, я так, — смутилась Тося.

Все-таки она недоговаривала что-то!

— Прямо хоть езжай к нему в разведку... Я бы, Тося, съездила, если б не супружница евонная — та его от матери отшила. Я ее и видеть не желаю.

— Что же так категорично? Может, и поладите, как свидитесь, поближе познакомитесь...

— То-сюшка, роди-и-имая! Не лежит душа. Чужая она мне. Чужая мне и Генке. Материно сердце не обманется. Жалко мне его.

Тося отхлебнула чая, отставила вдруг блюдце. Стряхнув с колен невидимые крошки, сказала, глядя в сторону:

— Не знаю, как и быть... Может, вы подскажите. Предложение сделали на днях. И во сне не снилось!

Серафима вперила глаза на раздумянную Тосю. «Так вот ты с чем пришла! Вот почему о Генке любопытствуешь! То-осюшка, родимая! Все еще надеешься? Наплюй ты на него. Забудь. Устраивай судьбу. Устраивай, пока еще не поздно!» — так она подумала, но вслух произнесла:

— Хороший человек-то?

— Добрый... Но — с изъязном.

— Ну так что ж теперь-то. Которые без брака, давно к рукам прибратье. Главное, чтоб, Тосюшка, с умом и не калека...

— Слабый, к сожалению. Слабый и безвольный.

Серафима вскользь перекрестилась.

— Пьяница, поди?

— А вы его не хуже знаете.

— Не Яшка ли?!

— Да... Он.

— Ну и... что же ты?!

— Ответила: подумаю.

— Думай, Тося. Думай. Дочка у него. С матерью живет. Мать тоже непутевая — гулящая бабенка. Из-за нее и Яшка спортился — в запой ударяется. Все ли знаешь про него? Ой, боюсь, не все! Кабы не подвел под монастырь. Тем более с Шурупом дружбу водит... А ты ведь молодая.

— Серафима Ниловна, да полноте, ей-Богу! Какая молодая? Тридцать пятый год! Другие в моем возрасте детей имеют взрослых. Взрослых! Понимаете? — Облокотясь на стол, Тосюшка обеими руками подперла круглые пылающие щеки, заплакала беззвучно. — Прождала, ду-

реха. Все глаза на ваши окна проглядела. Как девчонка неразумная... Как школьница... А Яша, — Тося всхлинула, достала носовой платок, — вволю нахлебался, понял кое-что. Сам сказал: «Я — слабый, держи меня в узде, пожить хочу по-человечески... А что рискованный, знаю». Я ведь тоже спятила — помочь ему хотела. Вроде пожалела, а после испугалась. И за него, и за себя. Да и за вас... Я знаю: он и вас втянул в эту авантюру, так что прошу: простите! Простите нас обоих, Серафима Ниловна!

Будто паром с головы до ног обдало Серафиму. И то, что не могло присниться в жутком сне, явилось откровением. Неведомый канал, по которому «Столичная» поступала к ней, имел исток в подсобке магазина № 5. И изначальным звеньешком цепочки «Яшка — Серафима — покупатель» являлась Сотникова Тося...

Все это молнией прошило Серафиму, и, потрясенная открытием, она не в силах была вымолвить ни слова.

* * *

Утром, встав на табуретку, из-под вороха тряпья на шифоньере достала емкую коробку из плотного картона с откидными боковушками расслоенной крышки. Включила в кухне свет, села с краешку стола, вытряхнула деньги на блеклую клеенку. Красные, зеленые, синие купюры пышной, оплывающей с боков округлой горкой лежали перед Серафимой. Она уставилась на деньги, не смея к ним притронуться. Сидела изваянием согбенной с каменным лицом...

С кровати на пол прыгнул кот, пробежал к порогу.

— Да чтоб ты провалился! Из-за тебя, блудливого, сердце оборвалось! — Выпустив на улицу кота, приступила к пересчету...

По заведенному недавно распорядку навещался Яшка по субботам, в один и тот же час, сразу после передачи «Время». Входил без стука, как домой, снимал с плеча затаренную сумку, мягко ставил в ноги.

С полувопросительной улыбкой глядел на Серафиму. Столкнув с колен Барона, она без слов вставала с кресла и выключала телевизор. Кряхтя, тащилась в Леночкину комнату. Открывала крышку погреба и, встав на четвереньки, запускала руку в яму. Со ступеньки деревянной лестницы, ведущей круто вниз, брала пустую сумку с той же броской надписью, кидала ее Яшке. «Все, что выручила,— тут». Затаренную сумку ставила на место возвращенной.

С той же вопросительной улыбкой Яшка бережно брал сумку за ремни, встряхивал слегка: «Сколько тут сегодня?» — «Столько, сколько есть! — бросала раздраженно. Считай, простая арифметика: пятнадцать штук по тридцать... Сколько получается?»

«Прилично. — Яшка белозубо улыбался, рассовывая деньги по карманам. — Ты просто молоток у нас, тетя Сим. Ударница торговли». — «Будет зубоскалить — не до шуток!» Яшка на глазах отсчитывал «зарплату»: «Сегодня получаешь с прогрессивкой, фирма ценит расторопных!» С «прогрессивкой» выходило до двухсот от партии. Когда он уходил, Серафима, не считая, совала выручку в коробку, заваливала тряпками...

Разложив деньги по столу дышащими стопками, Серафима, слюня пальцы, просчитала каждую, сложила все в одну стопу и обвязала шелковой тесемкой. Подумав, обернула суконным лоскутком... Без малого две тысячи! Это ли не деньги? Взвесив на ладони аккуратный сверток, вбросила в коробку, заметалась в поисках укромного угла. В раздумье встала у кровати, опять метнулась в кухню. Вернулась с ножиком в руке, вспоролла шов перины и, сунув сверток в прорезь, в пуховое нутро, зашила мелкой стежкой...

«Все! Господи, прости!»

* * *

Не знала Серафима слов молитвы, но не могла не помолиться во искупление грехов. Из-под кровати выдвиг-

нула фанерный чемодан, обитый по углам мягкой красной жостью, щелкнула замками, откинула продавленную крышку. Из-под стопки «смертного» — нижнего и верхнего белья, платка и пары полотенец, тапочек и крестика на мелкозвенной цепочке — достала бабкину икону, завернутую в бархатный лоскут. Развернув и выставив на свет, шершавыми подушечками пальцев дотронулась до выцветшего лика... Установила легкую икону в передний угол затемненной горницы, накрыла свежим полотенцем. Зажженную свечу поставила на краешек надтреснутой подставки. Встала на колени...

— Господи, прости! Если есть Ты, слышишь, видишь — внемли моим мольбам. Прости нас, грешных, недостойных! Учил Ты жить по совести, учил добру, смирению — не вняли, не услышали. Отвыкли мы от добрых слов, сердцем очерствели, убогому и сирому куску не подадим, над старостью смеемся, измываемся. Завистливыми стали, нелюдимыми, во зле и лютости погрязли... Но если сотворил Ты мир для человека, молю, не отвернись, прости за прегрешения, очисти наши души от скверны и жестокости, дай веру в справедливость!.. Не от хорошей жизни нелюдями стали. Одна я одишенька, нет впереди просвета... Прости мою корысть. Слезами и молитвами искуплю вину. Дай только выбраться отсюда!

Серафима встала и распрямилась. Последний раз перекрестилась на икону с потрескивавшей свечкой на подставке, из подпола достала сумку с водкой, снарядилась к Яшке.

16

Испепеляющий, нещадный зной держался другой месяц, иссушая сморщенное русло исчезнувшей в неделю речки Невлевки. Изнывавшая от пекла молодежь толпами валила к манящей свежестью Оби. Шли в плавках и купальниках, в широкополых допотопных шляпах, сорванных, по-видимому, с огородных пугал, в противосолнечных очках, с магнитофонами, бутылками... Купались, загорали, дурачились, тонули... По вечерам нет-

нет да и приносило серенькую тучку с рваными краями. Тучка набухала, поднимался ветер, гнал колющую взвесь и скрутки сухих листьев. Не разрешившуюся влагой медлительную точку относило в сторону.

Ночью в темном небосводе стреляли отблески пожаров, вселяли беспокойство и тревогу. Земля расстрескалась, покрылась белой коркой. Серафима ежедневно поливала огород, но вода со змеиным шипом уходила в умирающую почву на глубину, недостижимую хилыми корнями. Зноем опаленная ботва день ото дня чернела, увядала. Свекла, редиска, редька выдурели в дудку, лук-батун зацвел и зачервивел. Двери, занавешенные марлей, висевшей неподвижно, точно лист железа, закрывались на ночь, к утру же в комнатах и сенцах воздух насыщался запахами гари. Серафима задыхалась. Когда ей становилось вовсе невтерпеж — казалось, вот-вот выпрыгнет сердчишко, она спускалась в подпол, синими губами хватала плесенный, с гнильцой, но все ж таки спасительный подземельный воздух...

* * *

Ефим привел, как обещал, покупателя «обянки». Им оказался въедливый мужик с кривым горбатым носом на оспенном лице, в истертой добела энцефалитке и, не смотря на адскую жару, в хлопающих броднях.

Мотолодка с номерами на оранжевых боках стояла третье лето под навесом. За лето до кончины Матвей купил ее взамен испытанной в поездках, верткой, но устойчивой на волнах старенькой «казанки», раздавленной сорвавшейся с причала самоходной баржей...

Въедливый мужик топтался вокруг лодки, заглядывал вовнутрь, желтой бородавчатой ладонью поглаживая днище и борта.

— За восемь... сот, — делил он слово надвое шмыганьем застуженного носа, — лучше новую куплять!

— Поди купи, — кивал на улицу Ефим. — Чего ж не купляешь? Каб они в продаже были!

— Так, може, завезут до ледостава?

— Ты чего кобенишься? Бери. Другой не станет торговаться — с руками оторвет.

— Дни-ище покарябано, — гнусавил покупатель.

— Сам ты покарябанный! — нервничал Ефим. — Новенька «обянка», со всеми потрохами: весла, тент, винты... Коврики, настилы. Чего закобенился?

— Лето отходила. Скостил бы хоть сотнягу!

— Гляди, чтоб не набросил!

Серафима в замешательстве стояла в стороне. По наущению соседа слова не вставляла, хотя в душе была готова скостить не сотню — полторы, лишь бы обратить «обянку» в деньги.

Откуда ни возьмись появился Яшка.

— Что за шум, а драки нет?

Ефим в сердцах махнул рукой, но тотчас выпучил глаза и повернулся к Яшке.

— И где ты был? И где тебя носило? Ты лодку покупаешь или нет? Вроде тысячу давал?

— И пузырь в придачу! — не растерялся Яшка.

— Все. Увози. Ставь магарыч.

Покупатель хлюпнул носом.

— Ты это, не дури... Я лодку покупаю.

Яшка артистически «взорвался»:

— Что значит «покупаю», когда я купил?! Я купил иль не купил? — повернулся к Серафиме. — Да я с весны забил «обянку». Хозяйка подтвердит!

— Да ну вас, сами разбирайтесь! — скраснела Серафима.

— Я покупаю, покупаю!

17

Не предугадала Серафима, не предвидела, в какие муки тяжкие, в какие страхи жуткие обернется тайная торговля. Уже после десяти, когда стихали уличные звуки, дыханием Оби доносило легкую прохладу, сжималась в ожидании...

«Динь-динь-динь!» — вызванивали стекла в раме выходящего на улицу окна, но мелодичный мягкий звон

сгустком напряженных нервов ударял кувалдой по железу. Сердце обрывалось, Серафима собирала в горсть ситцевую штору, щекою припадала к теплому стеклу. За окном маячили темные фигуры: «Бабка Сима здесь живет? Выдь-ка на минутку!»

«Адресом ошиблись!» — опускала штору.

«Динь-динь-динь!» — Стук повторялся. Серафима выжидала, чтобы успокоиться. Если голос ей внушал доверие, выходила из дому.

«Пузырь бы нам, хозяйшкa!» — просили визитеры. «Нету, милые, — шептала, — больше не торгую!». — «Нужно до зарезу». — «Не торгую, милые, правду говорю». — «В обиде не останешься». — «Все, лавочка закрыта».

Серафима костерила Яшку и себя, металась от окна до запертой калитки. «Нету... Нету. Не-ету! Лавочка закрыта!» Ей все еще не верили: «Бутылочку... Одну!» Клиенты распаялись, стучали все настойчивей, уже не церемонясь, осыпая бранью и угрозами. Стекла дребезжали в переплете рамы. До утренней зари сидела чуть живая в простенке между холодильником и газовой плитой...

Пожаловалась Яшке:

— Сделай что-нибудь. Измучили вконец. Содом под окнами подняли. Сожгут или зарезут — кидаются, как звери. Гусариха косится — не дура, понимает... А ну как до милиции дойдет? Сраму ведь не оберешься, со стыда сторишь!

Гусариха, конечно, догадалась, в какую передрыгу попала Серафима, но до поры до времени молчала. Случалось, что клиенты спьяну ошибались, стучались к Серафиминим соседям. Неспроста Гусариха краской освежила номер дома. В милицию с докладом она бы не пошла, но как-то раз подковырнула: «Пошто, Симуня, мужиков приворожила? Как ночь, так табунятся под окном. Всю Перековку взбудоражила».

Пришлось валить на Яшку: «В бараке собираются, гуляют до утра». — «Ты бы подсказала, чтобы шуганул, а то спалят весь околоток».

Яшка выслушал, нахмурился.

— Ладно, потерпи. Своих предупреджу, чужих гони в три шеи. Кто нахамит, со мною будет разговор. Так и объясняй.

Поток ночных клиентов иссяк через неделю. Серафима успокоилась. Вслед за мотолодкой спланировала мотор, палатку, спальные мешки, сети и провяз. Просили и ружье, давали две цены, но Серафима устояла в пользу Яшки. Он перебрался к Сотниковой Тосе, с головой ушел в заботы о ремонте дома...

Шуруп вернулся с буровой. Вчера увидела его на «Куликовом поле» в обнимку с Быстроходом, и сердчишко екнуло.

* * *

А ночью затряслась сеничная дверь. Барон махнул спросонок в угол. Серафима пробудилась, насторожила слух. Стук — настойчивый и властный — повторился. Серафиму будто ветром сдуло с койки. Выскочила в сенцы.

— Отк-крой, т-торговка, д-дело есть!

Ноги подкосились. От загорбка по спине холодным склизким комом прокатился страх...

— Кончилась торговля. Лавочка закрыта!

Дверь громыхнула с новой силой. Серафиму взлихорадило. Она схватилась за топор, прислоненный к стенке.

— Попробуй, гад, зайти! — вскричала чужим голосом. — Башка так и слетит! Порешу убивцу! — вскричала и осеклась... А ну прицепится к «убивце»? Вот когда пропали? Веня и она. И Яшка не спасет.

Шуруп, видать, остолбенел. Выдержалась пауза. Из-за угла слышались шаги. Кто-то от калитки подошел к крыльцу, заговорил с Шурупом.

«Все! — обмякла Серафима. — Ворвутся и придушат, пикнуть не успеешь».

Шуруп пристукнул кулаком по верху полотна.

— Л-ладно, бля, ж-живи... П-после разберемся!

Состояние тревоги уже не оставляло Серафиму. Каждый вечер доставала потаенную коробку, пересчитывала

деньги. Чем больше набиралось, тем беспокойней становилось на душе.

* * *

Решение уехать, и не весной, как думала, а осенью, немедленно, еще по навигации, как только приберет на огороде, с тем чтобы в Камышинке без суеты и спешки за зиму обжиться, стало окончательным с момента получения ответа Парамона...

«На твое письмо, сестрица, скажу как на духу. Там хорошо, где нас с тобой нету. И у Камышинке вся жизнь перевернулась кувырком. Сам черт не разберет, чего сейчас творится. И что нам в этой жизни дальше делать. Продуктов продовольствия питания вовсе никаких. Хлеб у сельпо от случая к случаю. Кто смел, тот ухватил, а кто не ухватил, так и сиди без хлеба. Из одежды тоже пусто. Все пообносились, ходим как чухонцы. Сам, сестрица, все хвораю. Бронхи обострились, пичкают снадобьями, а толку никакого. А где же будет толк, ежели с трактора не слазию все на ветру да сквозняках и весь как чёрт в пыли...

Такая наша жизнь теперь. Так что, сестрица дорогая, сидела б и не рыпалась. Чего под старость лет мотаться. Это ведь легко сказать, взять да переехать. Не на шесток с шестка слететь. А я вообще не против. Может, так и надо. Чего одной там куковать. Куковать так кучкой. А если уж надумала, то на плечах да вынесу. Теперь насчет квартиры. Тетка Карабаниха собралась у Омск к старшему, Василию. А дом с сарайкой продается. Усадьбу ее знаешь. Задаром не отдаст, но для тебя уступит. Вот не упустить бы!..»

Серафима от волнения зарделась.

«Домой... Домой. Домой! Нет смысла весну ждать. Страшно в развалюхе оставаться. Дрова к зиме нужны, восемь кубометров выписывать придется, а кубик пять рублей. Считаю, простая арифметика... Плюс за машину заплати, рабочим за погрузку-выгрузку бутылочку поставь, а то и две — одной не обойдется. Не угостишь — гнилья в отместку привезут, намаешься зимой. Колоть

нанять кого-то надо. То хоть Яшка выручал, а теперь свои заботы...

Домой. Домой! В Камышинку! Дом тем более находится. Продать все без остатка — картошку, поросенка, только б наскрести, не упустить возможности. А то и до весны не доживешь — угробит ни за понюшку, зверюга. Вот как зубами скрежетал!»

18

— Симунь, — позвал с крыльца Ефим, — готова или нет? Моя торговка собралась.

Сосед напомнил о Гусарихиной просьбе. «Клубнику собрала — когда одна продам, а не продам — закиснет. Пойдем вдвоем на рынок, поможешь да проветришься, а то все дома, дома...»

«Да ну, — сказала Серафима, — я не умею торговаться. Матвей не позволял, уж больно не любил он это дело. Да и неловко, Феня, не привыкла». — «Ишь ты, неловкая какая. — Гусариха взглянула со значением. — Свой труд продать не стыдно, зазорно — своровать...».

Рынком называлось узкое пространство в самом центре города между гастрономом и Советской площадью. Во всю длину оградки гастронома тянулись сплошным рядом ящики и ящички, на которых кучками и связками, рядами и навалом блестели сочной зеленью лук и сельдерей, петрушка и укроп и, наконец, садовая клубника — предмет особой гордости кедровских огородниц. За аппетитным рядом тесно примостились вялые торговки — с утра торговля шла небойко. Гусарихино место было в конце ряда, там, где начинались свежие лотки невесть откуда взявшихся на днях кооператоров. Уступив Серафиме законное место, отсыпала ягод из лукошка в крапчатую чашку.

— Три рубля стакан!

Серафима ахнула.

— Опомнись, кто возьмет? В июне было по рублю!

— Не оглядывайся на июнь, забегай вперед! — Подхватив лукошко, Гусариха отправилась на поиски места для себя...

На Советской площади с гиком и вприпрыжку резвилась детвора. (Недавно на мусорной свалке за городом бродячими собаками была разрыта яма, в которой обнаружилась кишашая червями груда псиных лап и шкур. Кивали на шашлычников, обосновавшихся на площади с весны, и те, усилив подозрения, сбежали из Кедрового, оставив в память о себе россыпь гнутых шампуров. Металлические стержни вездесущей детворой были приспособлены под шпаги).

Старухи-огородницы сидели тихо-мирно, в стане молодых кооператоров царило оживление. Новые лотки были сплошь завалены блещущими яркими наклейками, рубашками и брюками, медными поделками под золото, кожгалантерейной мелочью, открытками с видами красоток в чем мама родила...

Серафима подошла, ощупала шитье. «Холстина, швы расходятся и цвет до первого дождя. Десятка красная цена, ан нет — дерут три шкуры. И ведь берут, берут! Шитье-то по нужде — в универмаге голые прилавки...».

Но брали безделушки — вот что поражало. Цепочки, медальончики, открытки... Отваливали деньги ни за что.

Когда в 67-м году поехала на родину с Матвеем, зашел в купе вихрастый прощелыга. Зашел и огляделся, кивком Матвея вызвал в тамбур. Матвей вернулся тотчас. Сел и засмеялся. «Что да что?» — пристала к мужу. И он достал колоду. Взглянула и обомлела: на картах шлюхи голые. Стыдобушка и срам. «И сколько эта погань стоит?» — «Трешку заплатил». Без слов открыла створку и — за окно колоду. Матвей и крякнуть не успел. Потом и напустилась: «Сына б постыдился, что если б на глаза попались?»

Матвей рассказывал, как было. «Вышли, прошли в тамбур, достал из чемоданчика колоду, сказал: «Купи, мужик, в деньгах нуждаюсь крайне». Взял да и купил, вроде, как помог...». Муж смеялся над собой, ей было не до смеха. Не из-за трех рублей, пущенных на ветер. Гадко стало на душе, будто нахамили...

Прощелыга в поезде опасался торговать картами в открытую, а эти не стеснялись, эти — за лотками — торговали не втихушку. Те же голые распутницы в непотреб-

ных позах на цветных открытках стоили не трешку, а червонец. И брали-то не взрослые, а дети. Прятали стыдливо по запазухам...

«Все полетело вверх тормашками. Все перемешалось, все не так, как надо. Неужто все дозволено?»

Подошла Гусариха. Увидев ягоду нетронутую, дернула бровями.

— Да ты пошто нерасторопна? Ты подзывай маленечко. Я полкошелки продала.

К полудню народ расшевелился. Толпа мгновенно запрудила рынок. В ход пошли картошка, зелень...

— Почему у вас клубника?

— Три рубля стакан.

— Скок-скоко, бабка? С ума сошла, старуха!

Но иные брали. Кто стакан, кто два. Кто-то расставался с трешками легко, кто-то — скрепя сердце, взглянув на Серафиму как на корень зла, как сама — на шустрых за лотками...

«Злые все, издерганы, все бегом-бегом... Остановиться недосуг. За что народ страдает? Будет ли когда-нибудь достаток? Придется ли пожить по-человечески? Неужто светлого денечка не выпадет на долю? Жизнь-то на закате. По-людски и не жвали. То война тому причиной. «Все для фронта, для Победы!» Надо потерпеть, кончится война — дух переведем. Кончилась война — хозяйство поднимать. Тоже понимали. Надо. Переждем. На все свои причины. Теперь твердят — застой всему причиной. Работать, дескать, не умели. Не умели жить. Вот те раз! Нет уж, извините-погодите, господа хорошие, какой такой застой? Кто же застоялся? Гусариха? Матвей? Вот кто стоял да переставал, тому б и отпрыгнулось. Народ опять в ответе. Ванюшка-народ!»

— ... почему у вас клубника? — Молодая женщина в газовой косынке с веснушчатой девочкой под руку стояла перед Серафимой.

— Три рубля стакан... Сахар — не клубника!

— Ешьте ее сами!

Но девочка захныкала:

— Ягодок хочу!

— Прекрати, паршивка! — закричала женщина.

И Серафима вскинулась.

— Мамаша, обождите! — Трясушимися пальцами наполнила стакан размягченной ягодой, протянула девочке. — Держи, моя хорошая, кушай на здоровьице!

Девочка умолкла, глянула на мать. Та потянула дочку за собой...

* * *

— Все, Феня. Стыдно от людей. Вот ягода, вот деньги... Я больше не помощница.

Гусариха взорвалась. Вспыхнула как порох:

— Где ж ты поможешь? Я, дура, помогу, а ты мне где ж поможешь?!

— Феня! Фе-еня, что ты? Выслушай меня!

— Где ж ты станешь мелочиться? Привыкла сотнями ворочать? Думаешь, не знаем? Вся Перековка знает! Прихерилась святошей!

Серафима, белая как мел, в испуге отшатнулась.

— Ни тебе, Феня, судить. Только перед Богом подответна! Только перед Ним и подотчетна!

— Конечешно, вспомнила про Бога! Набожная какая! Давно ль такую сделалась?

Серафима повернулась и пошла. От невыплаканных слез не видела дороги. Пришла, упала на кровать, наревелась в голос...

А ночью был ей сон.

Будто с сыном Генкой и братом Парамоном собрались улетать неведомо куда. Билеты на руках, и будто бы уже в аэропорту, в зале ожидания. Кругом — народ, народ... Все как наяву. И в этой кутерьме теряет сына с братом, ищет — не находит, но в толчее теряется багаж. Затем багаж находится, но вроде подмененный, надо б разобраться, а уж объявляется посадка. Пассажиры сломя голову кидаются не вниз, где накопитель, а на второй этаж, где залы ожидания. И она за ними, отчаянно работая локтями. Затем теряется билет, и, махнув рукой, бежит напропалую к дежурной по посадке, а та не пропускает — уперлась, хоть ты что. И, оттолкнув дежурную — откуда прыть взялась! — бежит

по взлетке к самолету — опять без багажа и без билета, уже не понимая, куда ей лететь-то. Бежит, оказываясь вдруг на незнакомом пустыре, утыканном кусками арматуры. И вроде ночь — холодная, промозглая. Вдали — огни, какие-то строения, сараи, кучи хлама... Она бежит, блуждая между куч, куда бежит — не знает, и местность вроде незнакомая, и нет поблизости людей, чтоб справиться, куда ж она попала. Но приближаются огни. Все ближе, различимей. И — окружают живой цепью. Но вовсе — видит — не огни, а... волки с красными глазами. С огромными горящими глазами. Силясь закричать, пятится и пятится, и тут вдруг замечает, что вовсе и не волки — люди с волчьими глазами. Как призраки, бредут по пустырю и что-то вроде ищут, ищут... И что всего ужасней — брат и сын среди них.

19

В последних числах августа установилась долгожданная прохлада. По вечерам врывается в город сиверко, гулял по закоулкам, гнал по тротуарам жухлую листву, стучал дощатыми калитками. Кустарник оголился, сквозь кедрач за огородами проблескивала Обь, светлой желтизной взялись березы.

Последнюю неделю сидела Серафима на узлах. Все было подготовлено к отъезду. Заказаны контейнер и билет. Постель, половики, одежда и белье были упакованы в тюки, обшиты и обвязаны. Телевизор отдала за полцены, но холодильник Яшка обрешетил — в деревне без него не обойтись, купить теперь не купишь. Осталось выкопать картошку, убрать, чторосло на побурелых грядках, сдать оптом в горрыбкооп (хоть за бесценок, лишь бы не пропало) и — домой, домой...

Пока что в кучах скарба в кладовке и сарае отыскивались вещи — с собой не увезти и бросить было жалко. Плотничный, слесарный инструменты, ведра, топоры, веревки и кадушки, невод и мешки — все, до ржавого болта — давалось не за так, а потом и мозолями, в Камышинке, конечно, ох как пригодилось бы! Инструменты предложила Гусарову Ефиму. Тот утвердительно кивнул, пообещал зайти, но что-то все не заворачивал — не раз-

решала, видимо, гордая Гусариха. Она и Вике запретила бывать у Серафимы. Девочка встречала недетскими вопросами: «Бабушка, а бабушка, когда ты уберешься?» — «Скоро, детка, скоро!»

Мозолили глаза ружье и патронташ. «Придет — отдам задаром, — решила Серафима, — пусть добрым словом поминает Матвея и меня. Скорее разрешение оформит... Да что-то долго не идет, надо бы проведать...».

С тем ти отправилась к нему. Дверь открыла Тося.

— Серафи-има Ни-и-иловна! Голу-у-у-убушка моя-я! — уткнулась в грудь заплаканным лицом, плечи затряслись в безудержных рыданиях. — Что же мне с ним де-е-елать? Как же мне тепе-е-ерь? Еще и расписаться не успели!..

Серафима мягко отстранила Тосю.

— Что случилось, милая? Что он натворил?

— За-апил... Запил не на шутку.

Серафима усадила Тосю на диван, поднесла воды.

— Выпей, успокойся... Расскажи, как запил. С кем, когда?

— Да что уж тут рассказывать! — Тося вытерла глаза, всхлипнула, вздохнула. — Поутру во вторник подали заявление, чтобы как положено... Днем, как обычно, на работе. Вечером оклеивал прихожую — зашел к нему дружок... Головастый, маленький...

— Вспомни, не Шуруп?

— Шуруп. Или — Шурупов? Не важно, все одно... За дверью пошептались и — засобирались. Я: «Далеко ль, Яша?» — «Друга провожу». Третьи сутки провожает. Утром видела его на «Куликовом поле», возле пивной бочки, чтоб она взорвалась! В обнимку с головастиком. Пьяный. С синяком. Бичевки возле них, как мотыльки... Выгоню его, — заключила Тося. — Чем с первых дней мытариться, так лучше уж одной.

Серафима села рядом, приобняла ее за плечи.

— Не торопись, родимая. Ты еще не знаешь одиночества! — с жаром возразила. — Выслушай меня, пожилую женщину. Я богаче опытом, видела побольше... Выгнать очень просто — трудно удержать. Ты его пойми. Ему уже за тридцать пять, а он еще не жил, все только собирает-

ся, из ямы выбраться не может. Карабкается, Тосюшка, обеими руками, ногти обломал. Тут и мысль дурная: а стоит ли так биться, стоит ли царапаться? Нужен я кому? Ты дай понять, что нужен. Руку протяни. Вытащи из ямы. А поймет, что нужен, — не узнаешь, Тосюшка. Приведи его домой — вот мой тебе совет. Вспомнишь добрым словом тетку Серафиму. А лучше — уезжайте! — бухнула, как гвоздь по шляпку вбила.

— Серафи-има Ни-иловна! Ми-илая! Куда-а? Кто и где нас ждет?

— Не знаю. Уезжайте. Это ему — лучшее похмелье.

* * *

Проснулась Серафима от глухого рокота. С минуту полежала неподвижно, вслушиваясь в ночь. На Оби ревел поздняя моторка. Внезапной белой вспышкой осветило комнату.

«Так это же гроза! Дождик собирается. Слава тебе, Господи!»

Вышла на крыльцо.

На востоке громоздились грозовые тучи. Отблеск дальней молнии выхватил из мрака серой ночи Северную улицу, пыльный смерч столбом поднялся над дорогой, переместился и завис над огородом. Сорвал с гвоздя на стене сарая звонкий стальной лист, кружа, отнес его к забору. Раздался дробный стук дождя...

Под водосток поставив ванну, Серафима опроретью заскочила в дом, и дождь обрушился лавиной. Зигзаги белых молний вязли в наслоениях тяжелых туч. Раскаты грома трехкратным эхом отражались на невидимых в стене бушующего ливня городских холмах...

За окном вдруг стукнула калитка, по стеклу неуловимо пробежала тень.

Серафима обмерла.

«Шуруп! — сверкнуло в подсознании. Вот когда решился! Выбрал, гад, момент!» Кошкой прыгнула к окну, запахнула створки, встала за простенок. Тень исчезла за углом...

Серафима чувствовала кожей: Шуруп стоит за дверью. Стоит, соображает... В том, что это он, она не усомнилась. Знала, что придет. Позарится на деньги. Знала и готовилась к отпору. Еще когда пришла от Тоси, коробку спрятала в подполье, засыпала картошкой. Матвеево ружье стояло наготове. Переломив его через колено, вогнула по патрону с красными пыжами в холодные стволы...

— Господи, спаси! Образумь злодея! — взяла ружье наперевес и тихо вышла в сенцы. Уперев приклад в живот, взвела курок большими пальцами, стволы просунула в отверстие в простенке.

— Не выйдет, паразит!

И в тот же миг бабахнуло где-то наверху, почти над самой крышей, вспышкой выхватило черную фигурку на дворе. Серафима вскрикнула, нажала на курок.

Выстрела не слышала. Закрыв лицо руками, упала на колени.

— Люди! Лю-юди добрые! Где вы? Помоги-и-ите!

Дождь хлестал всю ночь.

Утром вышла, огляделась.

На картофельной ботве головой к сараю, ногами в рваных башмаках на глинистой меже лежал ничком мужчина в выцветшей штормовке...

Глухой, протяжный стон повис в холодном воздухе.

* * *

Из «криминальной хроники» городской газеты:

«...В ночь на 2 сентября во дворе дома № 30 по улице Северной нанесено огнестрельное ранение 60-летнему Вениамину П., без определенного места жительства. Задержана подозреваемая...»

Август 1990, январь—апрель 1991 гг.



СОДЕРЖАНИЕ

Сборщик дани.....	5
Звенела птица в поднебесье.....	73
До поры до времени.....	117
Околоток Перековка.....	177



КОНЯЕВ Николай Иванович

Околоток Перековка

Литературно-художественное издание

Художник А.И. Черных

Редактор С.Б. Шумский
Корректор Н.Ю. Матякина

Художественный редактор Г.Р. Родионова

Оригинал-макет подготовлен фирмой «Виоланта»

ИПФ «УНИСЕРВ», Москва
ЛР № 061891 от 10.12.92

Подписано в печать 01.07.96.
Формат 84x108/32. Объем 8 п.л. Тираж 3000.
Печать офсетная. Бумага офсетная. Зак. № 766.

АО «Астра-семь»
121019, Москва, Филипповский пер., 13

КОН ... НА

30 руб — коп.

